



Голуб
Б Е З Г Л Я Н Ц А

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

Павел Евгеньевич Фокин
Гоголь без глянца
Серия «Без глянца»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9525724
Гоголь без глянца ; [сост., вступ. ст. П.Фокина]: Амфора; Санкт-Петербург; 2008
ISBN 978-5-367-00757-2

Аннотация

«Гоголь без глянца» – документальная мозаика, составленная из фрагментов воспоминаний современников писателя, а также документов и свидетельств, собранных его первыми биографами, высказываний и писем самого Гоголя. Это позволяет посмотреть на загадочную и трагическую личность великого сочинителя с самых разных точек зрения. Книга сочетает в себе элементы исторического повествования и художественного исследования.

Содержание

Ревизор мертвых душ	5
Личность	9
Облик	9
Характер	14
Творчество	19
Образ жизни и особенности поведения	26
Жилище	31
Охота к перемене мест	35
Актерский талант	36
Интересы и увлечения	40
Гардероб	43
Гастроном	47
Шутки, розыгрыши, проказы	52
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Гоголь без глянца

Сост. Павел Фокин

*Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора»
осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»*

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2008

© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2008

* * *

Памяти Георгия Михайловича Фридендера

Ревизор мертвых душ

Гоголь – пример великого человека. Выложите вы его из русской действительности, жизни, духовного развития: право, потерять всю Белоруссию не страшнее станет.

В. В. Розанов

Его назвали «великим» через день после похорон.

Он ушел, не дожив месяца до сорока трех лет. В возрасте расцвета, по античным меркам – «акме». Угас стремительно и неожиданно для всех, предав огню весь свой архив и многолетний труд по созданию второго тома «Мертвых душ». Словно захлопнул дверь за собой.

Василий Боткин в день трагического известия, 21 февраля 1852 года, сообщая в письме Тургеневу подробности, заключает свой отчет словами: «Как бы там ни было, но смерть эта поражает своим необыкновенным характером. Во всем этом есть какая-то сила, сила индивидуальности, перед которой почтительно отступаешь».

История Гоголя удивительна. Беспрецедентна для России. Гоголь – самое обласканное дитя русского общества. Ни одного писателя более так не баловали: систематически и в течение всей его жизни. Ни одного так единодушно не обожали. «Его повсюду читали точно запоем, – вспоминал В. В. Стасов. – Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по естественности язык, отроду еще не известный никому юмор – все это действовало просто опьяняющим образом».

Белинский сделал Гоголя знаменем нового литературного направления. «Вы у нас теперь *один*, – со свойственным ему максимализмом писал критик 20 апреля 1840 года, – и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашею судьбою: не будь вас – и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества». В своем восхищении Белинский не был одинок. Начались разговоры о «гоголевском периоде» в русской литературе.

Установился своеобразный культ Гоголя. Достоевский рассказывал, как молодые люди собирались на вечеринку и вдруг кто-нибудь предлагал: «А не почитать ли нам „Мертвые души“, открывали том и не могли оторваться до утра». Гоголевские словечки вошли в повсеместный оборот. «Даже любимые гоголевские восклицания: „чорт возьми“, „к чорту“, „чорт вас знает“, и множество других вдруг сделались в таком ходу, в каком никогда до тех пор не бывали» (В. В. Стасов). Юношество стриглось «под Гоголя» и обряжалось в любимые им жилетки. Посмотрите на портрет Некрасова 1840-х годов – вылитый Гоголь!

И не только молодежь – во все времена публика восторженная и неумная! – «старики» тоже были очарованы новым талантом. Пушкин, уже автор «Евгения Онегина» и семьянин, забегает к нему в гости по-простому, без предварительных уведомлений. Жуковский, учитель Пушкина и наставник цесаревича, постоянно хлопчет о Гоголе перед государем, добивается для него денег и привилегий. Старик Аксаков усердно лоббирует гоголевские интересы в Москве. В Петербурге – верный друг и покровитель, профессор русской словесности, а с 1840-го – ректор Петербургского университета П. А. Плетнев.

Магия неопровержимого обаяния таилась в личности Гоголя. Перед нею все отступало. Тургенев вспоминал о первой встрече с создателем «Мертвых душ»: «Я скоро почувствовал, что между мирозерцанием Гоголя и моим лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту – в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним».

Перед Пушкиным при его жизни так не преклонялись, как перед Гоголем. Его любили самозабвенно. Обхаживали, пеклись о его делах и нуждах, потакали капризам, прощали порой обидные выходки и нелепости. А странного в поведении Гоголя было много – его причуды вошли в анекдот. Мог в гостях, чуть ли не в присутствии дам, завалиться на диван и заснуть. Мог спрятаться от давнего знакомого в соседнюю комнату, когда тот приезжал с визитом. Зачем-то почти два месяца посылал матери письма как бы из-за границы, хотя уже давно был в Москве. Иногда мог приврать, да так неловко, что всем было очевидно: все сказанное – выдумка. Вообще, был человеком настроения. О ком другом в сходной ситуации попросту сказали бы, что он невежа, Гоголю же все сходило с рук. «Мы не можем судить Гоголя по себе, – оправдывал своего любимца Аксаков, – даже не можем понимать его впечатлений, потому что, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе». Друзья конфузились, смущались, недоумевали – и продолжали благоговеть, любить, потакать. Разве что пылинки с него не сдували...

В России своего дома у Гоголя не было: он неделями, иногда месяцами жил у своих знакомых, пользовался их кровом, заботами, столом. «За содержание свое и житье не плачу никому, – прямодушно признавался Гоголь в 1849 году в письме графине А. М. Виельгорской. – Живу сегодня у одного, завтра у другого. Приеду к вам тоже и проживу у вас, не заплачу вам за это ни копейки». В голову никому не приходило брать с Гоголя деньги за проживание!

Друзья неизменно, по первой же просьбе ссуживали его любыми суммами, порой выкраивая последние средства из собственного бюджета или занимая у третьих лиц. О долгах не напоминали: со своими кредиторами (даже язык не поворачивается назвать так Жуковского, Плетнева, Аксакова, Погодина, Шевырева) Гоголь расплачивался годами. Да что друзья, каждый встречный готов был услужить! Примеров – сотни.

Сам государь Николай Павлович, грозный и строгий, «Палкин», не смог устоять перед талантом Гоголя: утвердил к постановке «Ревизора», присутствовал на премьере и от души смеялся; позже дал добро печатать «Мертвые души», застрявшие было в цензуре; назначил пособие (говоря современным языком, выделил грант на продолжение работы над вторым томом), повелел выдать такой заграничный паспорт, какого в природе никогда не существовало.

О душе Гоголя молились оптинские старцы. Митрополит Московский Филарет проявлял деятельное внимание к его судьбе.

Гоголь, если взглянуть на все эти совокупные усилия современников сегодняшними глазами, видится как уникальный в истории государства Российского *национальный проект* в области литературы. Слову Гоголя поверили безоговорочно. Он стал *мечтой России о пророке в своем Отечестве*. Художник А. А. Иванов даже поместил фигуру писателя на своей картине «Явление Христа народу», в непосредственной близости к Спасителю.

Окончательно Россия утвердилась в своих чаяниях после выхода в свет первого тома «Мертвых душ». «Удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный, – писал в дневнике А. И. Герцен. – Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле; и там, и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование *ins Blaue*¹, а имеет реалистическую основу: кровь как-то хорошо обращается у русского в груди».

¹ На небеса (*нем.*).

Русский читатель с затаенным напряжением ждал продолжения. Жаждал. С недоумением прочел «Выбранные места из переписки с друзьями», которые удивили равно западников и славянофилов, революционеров и охранителей. Пожалуй, впервые рассердился на Гоголя. Заволновался, обеспокоился, даже разругался с ним на какое-то время, но усиленной заботы своей о Гоголе не оставил. Не понимал, но по-прежнему холил, лелеял, оберегал и спасал. Помогал, как мог и чем мог. Словом и делом. И верой в него, в силу его дара.

По сути, вся просвещенная Россия писала второй том «Мертвых душ». Говорят, Гоголь очень не любил, когда его спрашивали, как идет работа, – раздражался, скрытничал, не догадываясь, что это был *насущенный вопрос времени*. И вовсе не праздное любопытство двигало вопрошателями, а – томление духа. «В пустыне мрачной». И когда за девять дней до кончины Гоголь все сжег, Россия обмерла. Столько надежд и ожиданий сгорело в ту непостижимую ночь с понедельника на вторник второй недели Великого поста 1852 года, столько усилий и труда обратилось в пепел! Потрясенный случившимся, Погодин завершил рассказ о подробностях происшествия словами: «Вот что до сих пор известно о гибели *неоцененного нашего сокровища!*...» Не меньше!

Своим предсмертным поступком Гоголь озадачил русского читателя навсегда. И сегодня, и завтра, как и сто лет назад, тайна гибели второго тома будет мучить русскую душу. Мутить.

«Мы всё склонны объяснять болезнью. „Болезнь“ да „болезнь“, – писал пятьдесят лет спустя Василий Розанов, – какое легкое объяснение: это *deus ex machina*² неумных биографов. Ибо почему, читатель, у нас с вами не быть такой гениальной болезни, с такими же причудами? Но у нас есть только ревматизмы и тому подобные рациональные пустяки. Гоголь был, конечно, болен нравственными заболеваниями от чрезмерности душевных глубин своих. Его трясло, как деревню на вулкане. Но в чем секрет его вулкана, из которого сверкали по ночному небу зигзаги молний, текла лава, сыпался песок и лилась грязь: этого, не заглянув туда, нельзя сказать. А заглянуть – тоже нельзя. Только и можно сказать, что вулкан был огромный, могучий, планетный; что это „дух земли“ заговорил в нем. Но больше этих поверхностных слов что же мы можем сказать о нем».

Современники передавали слова сожаления, якобы сказанные Гоголем на следующий день: вроде как «лукавый попутал». Может быть. Однако верить им до конца нельзя – Гоголь был известный конспиратор! Он сжег второй том, находясь в здравом уме и твердой памяти. Точно знал, *что* делает. Ведь не первый раз предавал огню свои сочинения. Когда-то в юности уничтожил в печи практически весь тираж дебютной своей книжки – поэмы «Ганц Кюхельгартен»: никто не хотел ее покупать и читать. Потом так же поступил с некоей трагедией на историческую тему, которую слышал только один Жуковский и чуть не уснул от скуки. Да и начальная редакция второго тома безжалостно подверглась аутодафе. «Затем сожжен второй том М<ертвых> д<уш>, что так было нужно, – пояснял тогда Гоголь в одном из писем. – „Не оживет, аще не умрет“, говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу... Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным». Огнем, будто мечом, расчищал Гоголь дорогу к совершенству, безжалостно истребляя все, что не соответствовало Замыслу. И не столько художественная отделка занимала писателя в последние его

² Бог из машины (*лат.*), т. е. универсальное средство решения проблем.

вершинные годы, сколько правда, заключенная в его творении. И ее-то он у себя не находил. Не нашел. И сжег все. И себя – *бессильного сказать правду*.

Гоголь явился в Россию ревизором мертвых душ. Он собрал и представил на посмеяние весь мрак и безобразие ее, всю пошлость и весь душевный сор. Расправился с мерзостями жизни от всего сердца. Но как художник небывалой пронизательности и остроты ума, ясного и светлого взора, да просто как честный человек он не мог смириться с тем, что на страницах его заветного сочинения *Россия Пушкина* запечатлелась только как *Россия Плюшкина*, и мучительно – более десяти лет – искал способ восстановить полноту картины. Не нашел. И сжег все. И себя – *обессиленного исканиями*.

Но, уничтожив свои рукописи, Гоголь сочинил, может быть, еще более грандиозную и величественную поэму, чем та, которой вот уже более ста шестидесяти лет восхищаются читатели. Молчаливая тень Второго Тома, не того, что сгорел, а того, который виделся Гоголю в минуты духовного откровения, манит к себе и вдохновляет, пробуждает мысль и совесть. Ей мы обязаны «Дворянским гнездом», «Обломовым», «Войной и миром», «Братьями Карамазовыми» – всем деятельным и страстным порывам русской души. Второй Том «Мертвых душ» – это зачарованный *Град Китеж* русской литературы, и все мы, души живые, взыскуем его.

Национальный проект «Гоголь» продолжается.

Павел Фокин

Личность

Облик

Александр Петрович Стороженко (1805–1874), писатель, автор повестей на русском и украинском языках:

Его лицо, хотя неправильное, но довольно красивое, имело ту могущественную прелесть, какую придает физиономии блестящий взор, одаренный лучом гения. Улыбка его была приветлива, но вместе выражала иронию и насмешку.

Ольга Васильевна Гоголь (в замужестве Головня; 1825–1907), младшая сестра Гоголя:

Волосы у него были русые, а глаза – коричневые. В детстве у него были светлые волосы, а потом потемнели. Росту он был ниже среднего; худощавым я его никогда не видела; лицо у него было круглое, и всегда у него был хороший цвет лица, я не видела его болезненно-бледным. Немножко он был сутуловат, это заметнее было, когда он сидел. <...>

Особенно потемнели у брата волосы после того, как он обрился в Петербурге (в начале 1830-х гг. – Сост.). Существовало такое убеждение, что, кто из Малороссии приезжает в Петербург, на того вода петербургская так действует, что волосы вылезают. И брат, как приехал в Петербург, обрился. После того волосы у него потемнели. Ездил с ним лакей отсюда, он и тому советовал обриться, но лакей не послушался и лысым стал.

Михаил Николаевич Лонгинов (1823–1857), библиограф, начальник Главного управления по делам печати, ученик Гоголя:

Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волос на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, – все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества, – вот каков был Гоголь в молодости.

Пантелеймон Александрович Кулиш (1819–1897), публицист, историк, поэт, первый биограф Гоголя:

В Петербурге некоторые помнят Гоголя щеголем; было время, что он даже сбрил себе волосы, чтобы усилить их густоту, и носил парик. Но те же самые лица рассказывают, что у него из-под парика выглядывала иногда вата, которую он подкладывал под пружины, а из-за галстуха вечно торчали белые тесемки.

Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859), писатель, театральный критик, мемуарист, близкий знакомый Гоголя:

Наружный вид Гоголя был тогда (в 1832 г. – Сост.) совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу: нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое.

Лев Иванович Арнольди (1822–1860), чиновник по особым поручениям при калужском губернаторе Н. М. Смирновой, единоутробный брат А. О. Смирновой:

Знакомые Гоголя уверяли меня, что иногда встречали его в Москве у куаферов³ и что он завивал свои волосы. Усами своими он тоже занимался немало.

Вера Александровна Нащокина (1811(?)–1900), жена П. В. Нащокина, близкого друга А. С. Пушкина:

Он был небольшого роста, говорил с хохлацким акцентом, немного ударяя на о, носил довольно длинные волосы, остриженные в скобку, и часто встряхивал головой <...>.

Иван Иванович Панаев (1812–1862), писатель, журналист, автор мемуаров. С 1847 г. – издатель журнала «Современник» (совместно с Н. А. Некрасовым):

Наружность Гоголя не произвела на меня приятного впечатления. С первого взгляда на него меня всего более поразил его нос, сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы. Он был одет с некоторою претензию на щегольство, волосы были завиты, и клок наперед поднят довольно высоко, в форме букли, как носили тогда. Вглядываясь в него, я все разочаровывался более и более, потому что заранее составил себе идеал автора «Миргорода», и Гоголь нисколько не подходил к этому идеалу. Мне даже не понравились глаза его – небольшие, пронизательные и умные, но как-то хитро и неприветливо смотревшие.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Наружность Гоголя (в 1839 г. – Сост.) так переменялась, что его можно было не узнать: следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного (кроме хохла) франтика в модном фраке! Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражались доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то высокому. Сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Самая фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее.

Дмитрий Константинович Малиновский (ум. 1871), преподаватель математических наук во 2-й Московской военной гимназии, встречался с Гоголем в 1848–1849 гг.:

Небольшой рост, солидный сюртук, бархатный глухой жилет, высокий галстук и длинные темные волосы, гладко падавшие на острый профиль. Разговаривая или обдумывая что-нибудь, Гоголь протряхивал головой, откидывая волосы назад, или иной раз вертел небольшие красивые усы свои; при этом бывала и добродушная, кроткая улыбка на его лице, когда он, доверчиво разговаривая, поглядывал нам в лицо. Когда беседа не оживляла его, он сидел, немного откинувшись назад и несколько сгорбившись, как будто утомленный или углубленный в продолжительную думу. Бывали также минуты, когда он быстро ходил и почти бегал по комнате, говоря, что этого требует его нездоровье и остывшая будто бы его кровь.

Иван Константинович Айвазовский (1817–1900), живописец:

Низенький, сухощавый, с весьма длинным, заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на маленькие прищуренные глазки, Гоголь выкупал эту неприглядную внешность любезностью, неистощимой веселостью и проблесками своего чудного юмора, которыми искрилась его беседа в приятельском кругу.

С. А. Ермолова (урожд. Черткова):

³ Парикмахеров (фр.).

Было в нем что-то обаятельное. Чудесные глаза, пронизательные и в то же время кроткие и добрые, то задумчивость, то шутовскость производили впечатление неизгладимое. Гоголь был носаст; у красавицы Елиз. Григ. Чертовой также был большой, но изящный нос. Сопоставление этих носов давало Гоголю повод к разным шуткам.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Гоголь просил Моллера написать его с веселым лицом, «потому что христианин не должен быть печален», и художник подметил очень удачно привлекательную улыбку, оживляющую уста поэта; но глазам его он придал выражение тихой грусти, от которой редко бывал свободен Гоголь.

Федор Иванович Иордан (1800–1883), художник-гравер, знакомый Гоголя по Риму:

Портрет, писанный Моллером, – верх сходства; мне пришлось два раза гравировать с него.

Николай Васильевич Берг (1824–1884), поэт и переводчик:

О портрете работы Моллера (опять-таки не портретиста) слышал я, что он заказан был Гоголем для отсылки в Малороссию, к матери, после убедительных просьб целого его семейства. Гоголь, по-видимому, думал тогда, как бы сняться по красивее; надел сюртук, в каком никогда его не видали ни прежде, ни после; растянул по жилету невероятную бисерную цепочку; сел прямо, может быть для того, чтоб спрятать от потомков сколь возможно более свой длинный нос, который, впрочем, был не особенно длинен.

Павел Васильевич Анненков (1812–1887), литературный критик, мемуарист, первый биограф А. С. Пушкина:

Проезжая через Париж в 1846 году, я случайно узнал о прибытии туда же Николая Васильевича, остановившегося, вместе с семейством гр. <А. П.> Толстого (впоследствии обер-прокурора Синода), в отеле улицы De la Paix. На другой же день я отправился к нему на свидание, но застал его уже одетым и совсем готовым к выходу по какому-то делу. Мы успели перекинуться только несколькими словами. Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось, по-старому, длинными, густыми волосами до плеч, в раме которых глаза Гоголя не только что не потеряли своего блеска, но, казалось мне, еще более исполнились огня и выражения.

Николай Васильевич Берг:

В первый раз встретился я с Гоголем у С. П. Шевырева – в конце 1848 года. <...>

Гостиная была уже полна. Одни сидели, другие стояли, говоря между собою. Ходил только один небольшого роста человек, в черном сюртуке и брюках, похожих на шаровары, остриженный в скобку, с небольшими усиками, с быстрыми и пронизательными глазами темного цвета, несколько бледный. Он ходил из угла в угол, руки в карманы, и тоже говорил. Походка его была оригинальная, мелкая, неверная, как будто одна нога старалась заскочить постоянно вперед, отчего один шаг выходил как бы шире другого. Во всей фигуре было что-то несвободное, сжатое, скомканное в кулак. Никакого размаху, ничего открытого нигде, ни в одном движении, ни в одном взгляде. Напротив, взгляды, бросаемые им то туда, то сюда, были почти что взглядами исподлобья, наискось, мельком, как бы лукаво, не прямо другому в глаза, стоя перед ним лицом к лицу. Для знакомого немного с физиономиями хохлов – хохол

был тут виден сразу. Я сейчас сообразил, что это Гоголь, больше так, чем по какому-либо портрету. Замечу здесь, что ни один из существующих портретов Гоголя не передает его как надо. Лучший – это литография Горбунова с портрета Иванова, в халате. Она, случайно, вышла лучше оригинала; что до сходства: лучше передала эту хитрую, чумацкую улыбку – не улыбку, этот смех мудреного хохла как бы над целым миром...

Лев Иванович Арнольди:

(Происходило это в 1849 году. – Сост.). Ровно в шесть часов вошел в комнату человек маленького роста с длинными белокурыми волосами, причесанными а la moujik, маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким птичьим носом. Это был Гоголь! Он носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами, неловко махал одной рукой, в которой держал палку и серую пуховую шляпу; был одет вовсе не по моде и даже без вкуса. Улыбка его была очень добрая и приятная, в глазах замечалось какое-то нравственное утомление.

Григорий Петрович Данилевский (1829–1890), писатель, журналист, член совета Государственного управления по делам печати:

(1851 г. – Сост.). Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица <...>. Его длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты.

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883), писатель:

Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20-го октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни: он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее – и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. <...> Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 41 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Е<лаги>ной. В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измывать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно пронизательному выражению его лица. <...>

Я попристальнее взгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатога, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость – именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались – так, по крайней мере, мне показалось – темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское – что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и больное существо!» – невольно думалось, глядя на него.

Алексей Терентьевич Тарасенков (1816–1873), *известный московский врач:*

(1852 г. – Сост.). Ходил Гоголь немного сгорбившись, руки в карманы, галстук просто подвязан, платье поношенное, волосы длинные, зачесанные так, что покрывали значительную часть лба и всегда одинаково; усы носил постоянно коротенькие, подстриженные; вообще видно было, что он мало заботился о своей внешней обстановке. Когда встречался, протягивал руку, жал довольно крепко, улыбался, говорил отчетливо, резко, и хотя не изысканно сладко, но фразы были правильные без поправки, слова всегда отчетливо выбранные.

Александр Павлович Толченев (ум. 1888), *актер, драматург:*

Голос был у Гоголя мягкий, приятный; глаза пронизательные...

Характер

Александра Осиповна Смирнова (урожд. *Россет*; 1810–1882), *фрейлина императрицы, светская красавица, знакомая А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, мемуаристка:*

Он упирался, как хохол, и чем больше просишь, тем сильнее он упирается.

Василий Игнатьевич Любич-Романович (1805–1888), *поэт, переводчик, товарищ Гоголя по Нежинской гимназии:*

Вообще Гоголь не любил подражать кому бы то ни было, ибо это была натура противоречий. Все, что казалось людям изящным, приличным, ему, напротив, представлялось безобразным, гривуазным. В обиходе своем он не любил симметрии, расставлял в комнате мебель не так, как у всех, напр., по стенам, у столов, а в углах и посередине комнаты; столы же ставил у печки и у кровати, точно в лазарете. Ходил он по улицам или по аллеям сада обыкновенно левой стороной, постоянно сталкиваясь с прохожими. Ему посылали вслед: «Невежа!» Но Гоголь обыкновенно этого не слышал, и всякие оскорбления для себя считал недостижимыми, говоря: «Грязное к чистому не пристанет. Вот если бы я вас мазнул чем-нибудь, ну, тогда было бы, пожалуй, чувствительно». Прогуливаясь как-то по аллеям лицейского сада левой стороной, Гоголь толкнул плечом одного из воспитанников, за что тот сказал ему: «Дурак!» – «Ну, ты умный, – ответил Гоголь, – и оба мы соврали». Вообще он, бывая в обществе, ходил с опущенной головой и ни на кого не глядел. Это придавало ему вид человека, глубоко занятого чем-нибудь, или сурового субъекта, пренебрегавшего всеми людьми. Но в общем он вовсе не был зол. Так, он никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, что мог, и всегда говорил ему: «Извините», если нечего было вложить тому в руку. <...>

Гоголь часто не договаривал того, что хотел сказать, опасаясь, что ему не поверят и что его истина останется непринятой. Из-за этого он получил прозвище «мертвой мысли», т. е. человека, с которым умрет все, что он создал, что думал, ибо он никогда не изрекал ни перед кем того, что мыслил. Скрытность эта сделала Гоголя застенчивым, молчаливым. Гоголь был молчалив даже в случаях его оскорбления. – «Отвечать на оскорбление? – говорил он. – Да кто это может сказать, что я его принял? Я считаю себя выше всяких оскорблений, не считаю себя заслуживающим оскорбления, а потому и не принимаю его на себя». Замкнутость в нем доходила до высшей степени. Кто другой мог бы перенести столько насмешек, сколько переносил их от нас Гоголь? Безропотно он также переносил и все выговоры начальства, касавшиеся его неряшества. Например, ему многократно ставилась на вид его бесприческа. Растрепанность головы Гоголя вошла у нас в общую насмешку. Голова у него едва ли когда причесывалась им; волосы с нее падали ему на лицо нерасчесанными прядями. Стричься он также не любил часто, как этого требовало от нас школьное начальство. Вообще Гоголь шел наперекор всем стихиям. Заставить его сделать что-нибудь такое, что делали другие воспитанники, было никак нельзя. – «Что я за попугай! – говорил он. – Я сам знаю, что мне нужно». Его оставляли в покое, «с предупреждением впредь этого не делать». Но он всегда делал так, как хотел.

Виктор Павлович Гаевский (1826–1888), *историк литературы:*

По словам одного из товарищей Гоголя, В. М. П-ки, жившего с ним несколько времени в Петербурге, не было человека скрытнее Гоголя: по словам его, он умел сообразить средство с целью, удачно выбрать средство и самым скрытным образом достигать цели.

Павел Васильевич Анненков:

Он любил показать себя в некоторой таинственной перспективе и скрыть от нее некоторые мелочи, которые особенно на нее действуют. Так, после издания «Вечеров», проезжая через Москву, где, между прочим, он был принят с большим почетом тамошними литераторами, он на заставе устроил дело так, чтоб прописаться и попасть в «Московские ведомости» не «коллежским регистратором», каковым был, а «коллежским ассессором». – Это надо... – говорил он приятелю, его сопровождавшему.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Разговаривая очень приятно, Константин сделал Гоголю вопрос самый естественный, но, конечно, слишком часто повторяемый всеми при встрече с писателем: «Что вы нам привезли, Николай Васильевич?» – и Гоголь вдруг очень сухо и с неудовольствием отвечал: «Ничего». Подобные вопросы были всегда ему очень неприятны; он особенно любил содержать в секрете то, чем занимался, и терпеть не мог, если хотели его нарушить.

Алексей Дмитриевич Галахов (1807–1892), историк литературы, литературный критик, журналист, мемуарист, составитель популярной хрестоматии по истории русской литературы:

Гоголь жил у Погодина, занимаясь, как он говорил, вторым томом «Мертвых душ». Щепкин почти ежедневно отправлялся на беседу с ним (ведь они оба были хохлы). Раз, – говорит он, – прихожу к нему и вижу, что он сидит за письменным столом такой веселый. – «Как ваше здравие? Заметно, что вы в хорошем расположении духа». – «Ты угадал; поздравь меня: кончил работу». Щепкин от удовольствия чуть не пустился в пляс и на все лады начал поздравлять автора. Прощаясь, Гоголь спрашивает Щепкина: «Ты где сегодня обедаешь?» – «У Аксаковых». – «Прекрасно: и я там же». Когда они сошлись в доме Аксакова, Щепкин, перед обедом, обращаясь к присутствовавшим, говорит: «Поздравьте Николая Васильевича». – «С чем?» – «Он кончил вторую часть „Мертвых душ“». Гоголь вдруг вскакивает: «Что за вздор! от кого ты это слышал?» – Щепкин пришел в изумление: «Да от вас самих; сегодня утром вы мне сказали». – «Что ты, любезный, перекрестись: ты, верно, белены объелся или видел во сне»...

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Переменчивость в настроении души Гоголя обнаруживалась в скором созидании и разрушении планов. Так, однажды весною он объявил, что едет в Малороссию, и, действительно, совсем собрался в дорогу. Приходят к нему проститься и узнают, что он переехал на дачу. Н. Д. Белозерский посетил его там. Гоголь занимал отдельный домик с мезонином, недалеко от Поклонной горы, на даче Гинтера. – «Кто же у вас внизу живет?» – спросил гость. «Низ я нанял другому жильцу», – отвечал Гоголь. «Где же вы его поймали?» – «Он сам явился ко мне, по объявлению в газетах. И еще какая странная случайность! Звонит ко мне какой-то господин. Отпирают. Вы публиковали в газетах об отдаче внаем половины дачи? – Публиковал. – Нельзя ли мне воспользоваться? – Очень рад. Позвольте узнать вашу фамилию. – Половинкин. – Так и прекрасно! Вот вам и половина дачи. – Тотчас без торгу и порешили». Через несколько времени Белозерский опять посетил Гоголя на даче и нашел в ней одного Половинкина. Гоголь, вставши раз очень рано и увидев на термометре восемь градусов тепла, уехал в Малороссию, и с такою поспешностью, что не сделал даже никаких распоряжений касательно своего зимнего платья, оставленного в комод. Потом уже он писал из Малороссии к своему земляку Белозерскому, чтоб он съездил к Половинкину и попросил его развесить платье на свежем воздухе. Белозерский отправился на дачу и нашел платье уже развешенным.

Михаил Петрович Погодин (1800–1875), историк, археолог, журналист, друг Гоголя, в доме которого писатель неоднократно останавливался во время своих приездов в Москву:

Он никогда не мог поспеть никуда к назначенному сроку и всегда опаздывал. Его нельзя было вытащить никуда, иначе как после нескольких жарких приступов.

Лев Иванович Арнольди:

Гоголь очень любил и ценил хорошие вещи и в молодости, как сам он мне говорил, имел страстишку к приобретению разных ненужных вещей: чернильниц, вазочек, пресспапье и проч. Страсть эта могла бы, без сомнения, развиться в громадный порок Чичикова – хозяина-приобретателя. Но, отказавшись раз навсегда от всяких удобств, от всякого комфорта, отдав свое имение матери и сестрам, он уже никогда ничего не покупал, даже не любил заходить в магазины и мог, указывая на свой маленький чемодан, сказать скорей другого: *omnia mea mecum porto*⁴, – потому что с этим чемоданчиком он прожил почти тридцать лет, и в нем действительно было все его достояние. Когда случалось, что друзья, не зная его твердого намерения не иметь ничего лишнего и затейливого, дарили Гоголю какую-нибудь вещь красивую и даже полезную, то он приходил в волнение, делался скучен, озабочен и решительно не знал, что ему делать. Вещь ему нравилась, она была в самом деле хороша, прочна и удобна; но для этой вещи требовался и приличный стол, необходимо было особое место в чемодане, и Гоголь скучал все это время, покуда продолжалась нерешительность, и успокаивался только тогда, когда дарил ее кому-нибудь из приятелей. Так в самых безделицах он был тверд и непоколебим. Он боялся всякого увлечения. Раз в жизни удалось ему скопить небольшой капитал, кажется, в 5000 р. с., и он тотчас же отдает его, под большою тайною, своему приятелю профессору для раздачи бедным студентам, чтобы не иметь никакой собственности и не получить страсти к приобретению; а между тем через полгода уже сам нуждается в деньгах и должен прибегнуть к займам.

Федор Иванович Иордан:

Доброта Гоголя была беспримерна, особенно ко мне и к моему большому труду «Преображение». Он рекомендовал меня, где мог. Благодаря его огромному знакомству это служило мне поощрением и придавало новую силу моему желанию окончить гравюру. <...> Гоголь многим делал добро рекомендациями, благодаря которым художники получали новые заказы.

Павел Васильевич Анненков:

Вообще следует заметить, что природа его имела многие из свойств южных народов, которых он так ценил вообще. Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. «Последний день Помпеи» Брюллова привел его, как и следовало ожидать, в восторг. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца. <...> Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова. В жизни он был очень целомудрен и трезв, если можно так выразиться, но в представлениях он совершенно сходился со страстными, внешне великолепными представлениями южных племен. Вот почему также он заставлял других читать и сам зачитывался в то время Державина. <...> Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека

⁴ Все мое всегда при мне (*лат.*).

даже и светлым, практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия... Если присоединить к этому замечательно тонкий эстетический вкус, открывавший ему тотчас подделку под чувство и ложные, неестественные краски, как бы густо или хитро ни положены они были, то уже легко будет понять тот род очарования, которое имела его беседа.

Александра Осиповна Смирнова:

Он вообще не был говорлив и более любил слушать мою болтовню. Вообще он был охотник заглянуть в чужую душу. Я полагаю, что это был секрет, который создал его бессмертные типы в «Мертвых душах». В каждом из нас сидит Ноздрев, Манилов, Собакевич и прочие фигуры его романа.

Павел Васильевич Анненков:

Необычайная житейская опытность, приобретенная размышлениями о людях, выкачивалась на каждом шагу. Он исчерпывал людей так свободно и легко, как другие живут с ними. Не довольствуясь ограниченным кругом ближайших знакомых, он смело вступал во все круга, и цели его умножались и росли по мере того, как преодолевал он первые препятствия на пути. Он сводил до себя лица, стоявшие, казалось, вне обычной сферы его деятельности, и зорко открывал в них те нити, которыми мог привязать к себе. Искусство подчинять себе чужие воли изоощрялось вместе с навыком в деле, и мало-помалу приобреталось не менее важное искусство направлять обстоятельства так, что они переставали быть препонами и помехами, а обращались в покровителей и поборников человека. Никто тогда не походил более его на итальянских художников XVI века, которые были в одно время гениальными людьми, благородными любящими натурами и – глубоко практическими умами. <...>

Притом же Гоголь обращался к людям с таким жаром искренней любви и расположением, несмотря на свои хитрости, что люди не жаловались, а, напротив, спешили навстречу к нему.

Лев Иванович Арнольди:

Кто знал Гоголя коротко, тот не может не верить его признанию, когда он говорит, что большую часть своих пороков и слабостей он передавал своим героям, осмеивал их в своих повестях и таким образом избавлялся от них навсегда. Я решительно верю этому наивному откровенному признанию. Гоголь был необыкновенно строг к себе, постоянно боролся с своими слабостями и от этого часто впадал в другую крайность и бывал иногда так странен и оригинален, что многие принимали это за аффектацию и говорили, что он рисуется. Много можно привести доказательств тому, что Гоголь действительно работал всю свою жизнь над собою, и в своих сочинениях осмеивал часто самого себя.

Павел Васильевич Анненков:

Кажется, вид страдания был невыносим для него, как и вид смерти. Картина немощи если не погружала его в горькое лирическое настроение, как это случилось у постели больного графа Иосифа Виельгорского в 1839 году, то уже гнала его прочь от себя: он не мог вытерпеть природного безобразия всяких физических страданий. Что касается до созерцания смерти, известно, как подействовал на весь организм его гроб г-жи Хомяковой, за которым он сам последовал вскоре в могилу. Вообще при сердце, способном на глубокое сочувствие, Гоголь лишен был дара и умения прикасаться собственными руками к ранам ближнего. Ему недоставало для этого той особенной твердости характера, которая не всегда встречается и у самых энергических людей. Беду и заботу человека он переводил на разумный язык доброго посредника и помогал ближнему советом, заступничеством, связями, но никогда не переживал с ним горечи страдания, никогда не был с ним в живом, так сказать,

натуральном общении. Он мог отдать страждущему свою мысль, свою молитву, пламенное желание своего сердца, но самого себя ни в каком случае не отдавал.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма С. Т. Аксакову 18 декабря 1847 г.:*

Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти. Но любить кого-либо особенно, предпочтительно, я мог только из интереса. Если кто-нибудь доставил мне существенную пользу и через него обогатилась моя голова, если он подтолкнул меня на новые наблюдения или над ним самим, над его собственной душой, или над другими людьми, словом, если через него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уж того человека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой, хоть он и меньше меня любит.

Творчество

Николай Васильевич Гоголь, *в разговоре с А. О. Смирновой:*

Когда я пишу, очи мои раскрываются неестественною ясностью. А если я прочитаю написанное еще не оконченным, кому бы то ни было, ясность уходит с глаз моих. Я это испытывал много раз. Я уверен, когда сослужу свою службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу на свет несозревшее или поделюсь малым, мною совершаемым, то умру раньше, нежели выполню, на что я призван в свет.

Анна Васильевна Гоголь (1821–1893), *сестра Гоголя:*

...Брат никогда не любил говорить о своих сочинениях; даже намек о них не допускал. Если, бывало, кто-нибудь заговорит о них, он хмурился, переменял разговор или уходил.

Федор Васильевич Чижов (1811–1877), *сослуживец Гоголя по Петербургскому университету, профессор математики, впоследствии финансист и предприниматель:*

Помню я только два случая, показавшие мне прием художественных работ Гоголя и понятие его о работе художника. Однажды, перед самым его отъездом из Рима, я собирался ехать в Альбано. Он мне сказал:

– Сделайте одолжение, поищите там моей записной книжки, вроде истасканного простого альбома; только я просил бы вас не читать.

Я отвечал:

– Однако ж, чтоб увериться, что точно эта ваша книжка, я должен буду взглянуть в нее. Ведь вы сказали, что сверху на переплете нет на ней надписи.

– Пожалуй, посмотрите. В ней нет секретов; только мне не хотелось бы, чтоб кто-нибудь читал. Там у меня записано все, что я подмечал где-нибудь в обществе.

В другой раз, когда мы заговорили о писателях, он сказал:

– Человек пишущий так же не должен оставлять пера, как живописец кисти. Пусть что-нибудь пишет непременно каждый день. Надобно, чтоб рука приучилась совершенно повиноваться мысли.

Владимир Александрович Соллогуб, *граф* (1814–1882), *писатель, в 1840–1850 гг. хозяин литературного салона в Петербурге:*

Он постоянно мне говорил: «Пишите, поставьте себе за правило хоть два часа в день сидеть за письменным столом и принуждайте себя писать». – «Да что ж делать, – возражал я, – если не пишется?» – «Ничего... Возьмите перо и пишите: сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется и так далее; наконец надоест и напишется». – Сам же он так писал и был всегда недоволен, потому что ожидал от себя чего-то необыкновенного. Я видел, как этот бойкий, светлый ум постепенно туманился в порывах к недостижимой цели.

Александра Осиповна Смирнова:

У Гоголя всегда в кармане была записная книжка или просто клочки бумаги. Он заносил сюда все, что в течение дня его поражало или занимало: собственные мысли, наблюдения, уловленные оригинальные или почему-либо поразившие его выражения и пр. Он говорил, что если им ничего не записано, то это потерянный день; что писатель, как художник, всегда должен иметь при себе карандаш и бумагу, чтобы наносить поражающие его сцены, картины, какие-либо замечательные, даже самые мелкие детали. Из этих набросков

для живописца создаются картины, а для писателя – сцены и описания в его творениях. – «Все должно быть взято из жизни, а не придумано досужей фантазией».

Гоголь, при всей своей застенчивости и нелюдимости, охотно вступал в разговоры с самыми разнообразными людьми. – «Мне это вовсе неинтересно, – говорил он, как бы оправдываясь, – но мне необходимо это для моих сочинений». В Калуге он как-то перезнакомился в гостинном дворе со всеми купцами и лавочниками.

Павел Васильевич Анненков:

В первый раз, как я попал на один из чайных вечеров его, он стоял у самовара и только сказал мне: «Вот, вы как раз успели». В числе гостей был у него пожилой человек, рассказывавший о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование, и когда один из приятелей стал звать всех по домам, Гоголь возразил, намекая на своего посетителя: «Ты ступай... Они уже знают свой час, и когда надобно, уйдут». Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в «Записках сумасшедшего». <...>

Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений круг работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидел своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице... Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его «Шинель», и она заронила в душу его в тот же самый вечер. Поэтический взгляд на предметы был так свойственен его природе и казался ему таким обыкновенным делом, что самая теория творчества, которую он излагал тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу. «У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может быть и весьма замечательным автором впоследствии», говорил он. На этом основании он побуждал даже многих из своих друзей приняться за писательство. Но если теория была слишком проста и умалчивала о многих качествах, необходимых писателю, то критика Гоголя, наоборот, отличалась разнообразием, глубиной и замечательной многосложностью требований. <...> Поэзия, которая почерпается в созерцании живых, существующих, действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он, постоянно и упорно удаляясь от умников, имеющих готовые определения на всякий предмет, постоянно и упорно смеялся над ними и, наоборот, мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости *игры в бабки*, со всяким специальным человеком, который далее своей специальности и ничего не знает. Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки <...> и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин. Для него даже мера уважения

к людям определялась мерой их познания и опытности в каком-либо отдельном предмете. При выборе собеседника он не запинался между остроумцем, праздным, даже, пожалуй, дельным литературным судьей и первым попавшимся знатоком какого-либо производства. Он тотчас становился лицом к последнему.

Александр Павлович Толченев:

Слушал же с большим вниманием всевозможные рассказы, особенно касавшиеся русской жизни; с заметным удовольствием ловил в рассказах характеристические черты разных сословий, с любопытством расспрашивал об особенностях одесской жизни и, если предмет его интересовал или был ему мало знаком, настойчиво добивался от рассказчика объяснения мельчайшей подробности.

Ольга Васильевна Гоголь (в замужестве Головня):

Он предложил мне: «Хочешь, пойдем к мужикам, посмотрим, как они живут». Я с удовольствием пошла с ним. Входим в первую избу, там застали только одну молодницу. Она с таким радушием просила нас садиться на лавку, говорила: «А мени сю ничь приснилось, что в мою хату влетели две птычки. Оцеж против того и приснилось, що вы пришли». В это время положила солому в печь и сжарила нам яишницу; чтобы ее не обидеть, немного поели. Потом пошли в другую избу. Там увидели – в сенях чистота, аккуратно висели ведра и разные хозяйственные принадлежности; как видно, зажиточный мужик. И в хату взглянули, но нас не просили садиться. Брат посмотрел и похвалил его, сказал: «Видно, что трудящиеся люди». А к другому зашли – в сенях пустота, в хате тускло. Брат сказал ему: «Надо трудиться и стараться, чтобы у вас все было». Дальше не захотел: на трех хатах увидел, как они живут.

Дмитрий Александрович Оболенский, князь (1822–1881), чиновник, товарищ министра государственных имуществ, член Государственного совета:

Утром, во время пути, при всякой остановке выходил Гоголь на дорогу и рвал цветы, и ежели при том находились мужик или баба, то всегда спрашивал название цветов; он уверял меня, что один и тот же цветок в разных местностях имеет разные названия и что, собирая эти разные названия, он выучил много новых слов, которые у него пойдут в дело.

Николай Дмитриевич Мизко (1818–1881), историк литературы и библиограф:

Меня собственно, как уроженца и жителя Екатеринославской губернии, Гоголь расспрашивал о Екатеринославе, о каменном угле в нашей губернии, о Святогорском монастыре на меловых горах, в котором я был; узнав же о намерении моем побывать за границу, сделал несколько замечаний о плане и удобствах заграничного путешествия.

Через день я сделал визит Гоголю в квартире его, в доме Трощинского. Это было около двух часов дня. Он стоял у конторки и, когда я вошел, встретил меня приветливо. Я представил ему экземпляр моего сочинения: «Столетие русской словесности». <...> Он благодарил меня пожатием руки и потом спросил: «Вы, кажется, еще что-то издали в Одессе?» Я ответил, что напечатал «Памятную записку» о жизни моего отца в небольшом количестве экземпляров, собственно для родных и друзей, и просил его принять от меня экземпляр, так как, по сочувствию его к человечеству, он сродни и лучший друг каждому человеку. Он благодарил меня и сказал: «Я описываю жизнь людскую, поэтому меня всегда интересует живой человек более, чем созданный чьим-нибудь воображением, и оттого мне любопытнее всяких романов и повестей биографии или записки действительно жившего человека».

Николай Васильевич Гоголь. «Выбранные места из переписки с друзьями». Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»:

Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей.

<...> Но достоинство это <...> не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.

Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунился виднее всех моих прочих пороков, все равно, как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить Его, было *желанье быть лучшим*. Я не любил никогда моих дурных качеств. <...> По мере того как они стали открываться, чудным высшим вкушеньем усиливалось во мне желанье избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует <...>. С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем чем ни попало. Если бы кто увидел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма С. П. Шевыреву 18 февраля 1843 г., из Рима:*

Вследствие устройства головы моей, я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать, вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творенья.

Иван Федорович Золотарев (1812–1881), воспитанник Дерптского университета, попутчик Гоголя, чиновник:

Когда Гоголь начинал писать, то предварительно делался задумчив и крайне молчалив. Подолгу, молча, ходил он по комнате, и когда с ним заговаривали, то просил замолчать и не мешать ему. Затем он залезал в свою дырку: так называл он одну из трех комнат квартиры, в которой жил (в Риме, в 1836–1837 гг. – Сост.), отличавшуюся весьма скромными размерами, где и проводил в работе почти безвыходно несколько дней.

Яким Нимченко (около 1803–1885), крепостной слуга Гоголя. В записи В. П. Горленко:

Писал Гоголь иногда днем, но чаще вечером. Тогда никого не пускал. Сидел ночью долго, пока две свечи не сгорят.

Григорий Петрович Данилевский:

– Мы видели у него груды исписанных бумаг, – сказал я.

– Он марает целые дести, – сказал И. С. Аксаков, – переделывает, пишет и опять обрабатывает; как живописец с кистью: то подойдет и смотрит вблизи, то отходит и вглядывается, не бросается ли какая-либо частность слишком резко в глаза?

Яким Нимченко. *В записи В. П. Горленко:*

Когда «сочинял», то писал сначала сам, а потом отдавал переписывать писарю, так как в типографии не всегда могли разобрать его руку. В это время рассказчику (Якиму Нимченко. – Сост.) часто приходилось бегать в типографию на Большую Морскую, иногда раза по два в день. «Прочтет Николай Васильевич, вписывает еще на печатных листах, тогда несет обратно».

Алексей Терентьевич Тарасенков:

Он не отдавал своих сочинений для переписки в руки других; да и невозможно было бы писцу разобрать его рукописи по причине огромного числа перемарок. Впрочем, Гоголь любил сам переписывать, и переписывание так занимало его, что он иногда переписывал и то, что можно было иметь печатное. У него были целые тетради (в восьмушку почтовой бумаги), где его рукою каллиграфически были написаны большие выдержки из разных сочинений.

Николай Васильевич Берг:

Писал Гоголь довольно красиво и разборчиво, большею частью на белой почтовой бумаге большого формата. Такими бывали по крайней мере последние, доведенные до полной отделки его рукописи.

Николай Васильевич Гоголь. *В записи Н. В. Берга:*

Сначала нужно набросать все как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях – и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки на полях, и где не хватит места – взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час – вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом, и когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз – как бы крепчает и ваша рука; буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственною рукою, труд является вполне художнически законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки и пересматриванье, пожалуй, испортят дело; что называется у живописцев: зарисуешься. Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале. Иное пустишь и скорее. Человек все-таки человек, а не машина.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

И переписанные набело сочинения он все откладывал отдавать в цензуру, отзываясь тем, что желает еще исправить некоторые места, которые кажутся не совсем вразумительными.

Лев Иванович Арнольди:

Гоголь очень часто употреблял слово «слишком». Это одна из особенностей его слога, часто неправильного, иногда запутанного, но в котором зато было так много крупного, сильного и мало той легкости, с которой пишутся некоторые русские фельетоны, заботящиеся не о силе слога, верности, меткости, а только о правильности языка.

Николай Васильевич Берг:

Шевырев исправлял, при издании сочинений Гоголя, даже самый слог своего приятеля, как известно, не особенно заботившегося о грамматике. Однако, исправив, должен был все-таки показать Гоголю, что и как исправил, разумеется если автор был в Москве. При этом случалось, что Гоголь скажет: «Нет, уж оставь по-прежнему!» Красота и сила выражения иного живого оборота для него всегда стояли выше всякой грамматики.

Дмитрий Александрович Оболенский:

Граф А. П. Толстой сказывал мне, что ему не раз приходилось слышать, как Гоголь писал свои «Мертвые души»: проходя мимо дверей, ведущих в его комнату, он не раз слышал, как Гоголь один, в запертой горнице, будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом. В черновых рукописях видны следы этой работы. Каждый разговор переделывался Гоголем по нескольку раз. Зато как живо, верно и естественно говорят все его действующие лица.

Николай Васильевич Гоголь. Из письма П. А. Плетневу 2 декабря 1850 г., из Одессы:

Работа – моя жизнь. Не работается – не живется, хотя покуда это и не видно другим. <...> Я уже испытал, что дело идет у меня как следует только тогда, когда все утруднение, нанесенное голове поутру, развеется в остальное время дня прогулкой и добрым движеньем на благорастворенном воздухе <...>. Если это не делается, голова на другой день тяжела, не способна к работе. И никакие движенья в комнате (сколько их ни выдумывал) не могут помочь. Слабая натура моя так уже устроилась, что чувствует жизненность только там, где тепло ненатопленное.

Николай Васильевич Гоголь. Из письма С. П. Шевыреву 10 августа 1839 г., из Вены:

Странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеченным. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню, одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, и вообще я не могу ничего делать, где я один и где я чувствовал скуку. Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге и именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро... <...> Я надеюсь много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге.

Николай Васильевич Гоголь. В записи Н. В. Берга:

Со мною был такой случай: ехал я раз между городками Дженсано и Альбано, в июле месяце. Среди дороги, на бугре, стоит жалкий трактир, с бильярдом в главной комнате, где

вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все проезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том «Мертвых душ», и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, захотелось мне писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма С. П. Шевыреву 28 февраля 1843 г., из Рима:*

Путешествие и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние для того, чтоб менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обра<ти>ть в одно то, что мне нужно. Я уже не говорю, что из каждого угла Европы взор мой видит новые стороны России и что в полный обхват ее обнять я могу только, может быть, тогда, когда оглянущу всю Европу.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма гр. Л. А. Перовскому или кн. П. А. Ширинскому-Шихматову, или шефу жандармов графу А. Ф. Орлову 10–18 июля 1850 г., из Васильевки:*

Писателю, приобывшему созерцать, бывает необходимо временное отдаление от предмета, который он видел вблизи, затем, чтобы лучше обнять его. У меня же это преимущественная особенность моего глаза.

Образ жизни и особенности поведения

Павел Васильевич Анненков:

Степенный, всегда серьезный Яким состоял тогда (в середине 1830-х гг. – Сост.) в должности его камердинера. Гоголь обращался с ним совершенно патриархально, говоря ему иногда: «Я тебе рожу побью», что не мешало Якиме постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах и, наконец, устроить ему покойную будущность. Сохраняя практический оттенок во всех обстоятельствах жизни, Гоголь простер свою предусмотрительность до того, что раз, отъезжая по делам в Москву, сам расчертил пол своей квартиры на клетки, купил красок и, спасая Якима от вредной праздности, заставил его изобразить довольно затейливый паркет на полу во время своего отсутствия.

Дмитрий Михайлович Погодин (1836–1890), сын М. П. Погодина:

С прислугою он обращался вежливо, почти никогда не сердился на нее, а своего хохлака ценил чрезвычайно высоко.

Ольга Васильевна Гоголь (в замужестве Головня):

Вставал он в шесть часов, выпивши кофе, занимался. Писал на конторке, всегда стоя. До обеда мы не виделись с ним, потом, погуляв в саду, приходил к нам. В час обедали, после обеда в гостиной с нами посидит два часа, и все за работой; и он придумал себе работу: раскрашивал библейские картины, говорил, чтобы я эти картины раздала мужикам и рассказывала им историю этих картин. Потом отправлялся пешком в Яворивщину, но что он там делал – не знаю. Возвращался на вечерний чай, за чаем разговаривал, но о чем – я не слышала. После чая отправлялся в флигель. И так он проводил время каждый день.

Лев Иванович Арнольди:

По приезде в Калугу (в 1849 г. – Сост.) Гоголь и я поместились во флигеле, в двух комнатках рядом. По утрам Гоголь запирался у себя, что-то писал, всегда стоя, потом гулял по саду один и являлся в гостиную перед самым обедом. От обеда до позднего вечера он всегда оставался с нами или с сестрой, гулял, беседовал и был большую часть времени весел; с чиновниками и их женами он знакомился мало и неохотно, а они смотрели на него с любопытством и некоторым удивлением. <...>

(Летом 1850 г. – Сост.). Гоголь жил подле меня во флигеле, вставал рано, гулял один в парке и в поле, потом завтракал и запирался часа на три у себя в комнате. Перед обедом мы ходили с ним купаться. Он уморительно плясал в воде и делал в ней разные гимнастические упражнения, находя это очень здоровым. Потом мы опять гуляли с ним по саду, в три часа обедали, а вечером ездили иногда на дрогах гулять, к соседям или в лес.

Вера Александровна Нащокина:

Общества малознакомых людей он сторонился. Обыкновенно разговорчивый, веселый, остроумный с нами, Гоголь сразу съеживался, стушевывался, забивался в угол, как только появлялся кто-нибудь посторонний, и посматривал из своего угла серьезными, как будто недовольными глазами или совсем уходил в маленькую гостиную в нашем доме, которую он особенно любил.

Иван Константинович Айвазовский:

Появление нового незнакомого лица, подобно дождевой туче, мгновенно набрасывало тень на сияющее доброю улыбкою лицо Гоголя: он умолкал, хмурился, как-то сокращался,

как будто уходил сам в себя. Эту странность характера замечали в нем все его близкие знакомые.

Александр Павлович Толченев:

Новых лиц, новых знакомств он, действительно, как-то дичился. Бывало, когда в комнате, в которой Гоголь обедал с своими постоянными собеседниками, входило незнакомое ему лицо, Гоголь замолкал, круто обрывая разговор. Но если присутствующие встречали вошедшего дружески и радушно, Гоголь сейчас же переставал дичиться и спокойно продолжал разговор. Если же встреча вошедшему была только официально вежлива, то Гоголь уходил в самого себя и решительно не говорил ни слова, пока появившийся господин не скрылся.

Александра Осиповна Смирнова:

Гоголь был туг на новое знакомство. Он утверждал, что вести знакомство можно только с теми, у кого чему-либо можно научиться или кого можно научить чему-либо. Познакомившись и заинтересовавшись человеком, Гоголь или внимательно слушал его, или обучал иногда самым элементарным истинам или просто вопросам практической жизни. Толкуя их по-своему и придавая им особое значение, он смущал этим людей, а натуры обыденные, любящие говорить свысока самые банальные истины, приводил в негодование. Они не на шутку сердились на расточавшего непрошенные поучения.

Петр Петрович Соколов (1821–1899), художник:

Однажды Булгакова посетил Гоголь и пресерьезно осматривал его коллекцию портретов и рисунков. Не заметив, что на диване сидел какой-то важный генерал, и к тому же очень щепетильный, Гоголь долго стоял над диваном, рассматривая висевшую над ним картину, не замечая сидевшего генерала, бесившегося от злобы. «Я заметил, – рассказывал Булгаков, – что Гоголь, не видя этого петуха, осеняет его своим длинным носом, и стал их представлять. „Mon cher, – сказал я генералу, моему старому приятелю, – je te presente la personne du célèbre Gogol, l’écivain“⁵. Тогда надо было видеть, как флегматический Гоголь опустил свой длинный нос на моего бедного генерала, побагровевшего от неслыханного *sans fagon*⁶ обращения, и как они оба в унисон промычали что-то вместо приветствия».

Павел Васильевич Анненков:

Гоголь вообще любил те отношения между людьми, где нет никаких связующих прав и обязательств, где от него ничего не требовали. Он тогда только и давал что-либо от себя.

Дмитрий Михайлович Погодин:

Н. В. был в душе хлебосол, как всякий истинный малоросс, и только обстоятельства сдерживали его, то один день в году он считал своею обязанностью как бы рассчитаться со всеми своими знакомыми на славу, и в этот день он уже ничего не жалел. То был Николин день – его именины 9-го мая. Злоба дня, весь внешний успех пиршества, сосредоточивался на погоде. Дело в том, что обед устраивался в саду, в нашей знаменитой липовой аллее. Пойди дождь, и все расстроится. Еще дня за два до Николя Николай Васильевич всегда был очень возбужден: подолгу беседовал с нашим старым поваром Семеном, но кончалось всегда тем, что старый Семен при составлении меню нес под конец такую галиматью, что Гоголь, выйдя из себя, кричал: «Ты-то уйдешь!» – и, быстро одевшись, отправлялся

⁵ Мой дорогой... познакомься со знаменитым писателем Гоголем (фр.).

⁶ Бесцеремонный (фр.).

в купеческий клуб к Порфирию. Кроме Порфирия, славился еще повар Английского клуба Басанин, отец молодого талантливый доктор, Ивана Афанасьевича, рано похищенного смерти у науки. Следовательно, выбор был нетруден, и цены брали подходящие. Обычно Н. В. тянуло более к Порфирию на том основании, что он готовил хотя и проще, но зато пожирнее, да и малороссийские кушанья знал отлично. С кулинарной частью дело устранилось без затруднения, оставалось вино; но тут тоже выходило не по-нынешнему: отец писал такого рода записку: «Любезный Филипп Федорович (Депре), пришлите, пожалуйста, сколько нужно вина человек на 40–50, по вашему выбору, оставшиеся целыми бутылки будут возвращены». Вино присылалось отличное, прекрасно подобранное; со счетом не приставали: были деньги, Гоголь сейчас платил, а нет – ждали. Сад был у нас громадный, на 10 000 квадратных сажен, и весной сюда постоянно прилетал соловей. Но для меня собственно вопрос состоял в том: будет ли он петь именно за обедом; а пел он большею частью рано утром или поздно вечером. Я с детских лет имел страсть ко всякого рода певчим птицам, и у меня постоянно водились добрые соловьи. В данном случае я пускался на хитрость: над обоими концами стола, ловко укрыв ветвями, вешал по клетке с соловьем. Под стук тарелок, лязг ножей и громкие разговоры мои птицы оживали: один свистнет, другой откликнется, и начинается дробь и дудка. Гости восхищались. «Экая благодать у тебя, Михаил Петрович, умирать не надо. Запах лип, соловьи, вода в виду, благодать, да и только».

Надо сказать, что Н. В. был посвящен в мою соловьиную тайну и сам оставался доволен, когда мой птичий концерт удавался, но никому, даже отцу, не выдавал меня. Кто были гости Гоголя? Всех я не могу припомнить, но в памяти у меня сохранились следующие лица: Нащокин, когда был в Москве, Н. А. Мельгунов, Н. Ф. Павлов, Михаил Семенович Щепкин, Пров Михайлович Садовский, Васильев, С. П. Шевырев, Вельтман, Н. В. Берг, известный остряк Юрий Никитьевич Бартенев, знаменитый гравер Иордан, актеры Ленский и Живокини, С. Т. Аксаков, К. С. Аксаков и много других, которых я уже и не запомню. Обед кончался очень поздно, иногда варили жженку. Разговоры лились неумолкаемо. Пров Михайлович Садовский, нечего таить греха, находился всегда уже в легком подпитии и по общей просьбе начинал рассказывать: о капитане Копейкине, о Наполеонде Бонапарте, или неподражаемый рассказ о том, как пьяному мужику все кажется, что у него в ушах «муха жужжит». Вся тонкость этого последнего рассказа состояла в том, чтобы голос вибрировал на разные тоны. Обоймет он, бывало, одну из лип левой рукой, а правой как бы отмахиваясь от мнимой мухи, лезшей ему в ухо, и начинает на разные лады: «муха жужжит». А мимика, выражение глаз при этом не поддаются никакому описанию. <...> Сам дорогой именинник Н. В. в этот день из нелюдимого, неразговорчивого в обществе превращался в расторопнейшего, радушнейшего хозяина; постоянно наблюдал за всеми, старался, чтобы всем было весело, чтобы все пили и ели, каждого угощал и каждому находил сказать что-нибудь приятное. Из нескольких именинных дней, празднованных в нашем доме, я помню, что два случалась дурная погода, тогда обед происходил в доме, но и это имело свою хорошую сторону: Николая Васильевича, несмотря на сильное сопротивление с его стороны, все-таки удавалось уговорить прочесть что-нибудь. Долго отбивается Гоголь; но, видя, что ничто не помогает, нервно передергивая плечами, взберется, бывало, в глубь большого, старинного дивана, примостится в угол с ногами и начнет читать какой-нибудь отрывок из своих произведений. Но как читать? – и представить себе невозможно: никто не пошевелится, все сидят, как прикованные к своим местам... Обаяние чтения было настолько сильно, что когда, бывало, Гоголь, закрыв книгу, вскочит с места и начнет бегать из угла в угол, – очарованные слушатели его остаются все еще неподвижными, боясь перевести дух...

<...> Общество в день именин расходилось часов в одиннадцать вечера, и Н. В. успокаивался, сознавая, что он рассчитался со своими знакомыми на целый год.

Николай Васильевич Берг:

Хозяин представил меня. Гоголь спросил: «Долго ли вы в Москве?» – И когда узнал, что я живу в ней постоянно, заметил: «Ну, стало быть, наговоримся, натолкуемся еще!» – Это была обыкновенная его фраза при встречах со многими, фраза, ровно ничего не значившая, которую он тут же и забывал. <...>

Он держал себя большей частью в стороне от всех. Если он сидел и к нему подсаживались с умыслом «потолковать, узнать: не пишет ли он чего-нибудь нового?» – он начинал дремать, или глядеть в другую комнату, или просто-запросто вставал и уходил. Он изменял обыкновенным своим порядкам, если в числе приглашенных вместе с ним оказывался один малороссиянин, член того же славянофильского кружка. Каким-то таинственным магнитом тянуло их тотчас друг к другу: они усаживались в угол и говорили нередко между собою целый вечер, горячо и одушевленно, как Гоголь (при мне по крайней мере) ни разу не говорил с кем-нибудь из великоруссов.

Если ж не было малороссиянина, о котором я упомянул, – появление Гоголя на вечере, иной раз нарочно для него устроенном, было почти всегда минутное. Пробежит по комнатам, взглянет; посидит где-нибудь на диване, большей частью совершенно один; скажет с иным приятелем два-три слова, из благоприличия, небрежно, бог весть где летая в то время своими мыслями, – и был таков.

Иван Сергеевич Тургенев:

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив: на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово – что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на о; других, для русского слуха менее любезных, особенностей малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко.

Павел Васильевич Анненков:

Однажды за обедом, в присутствии А. А. Иванова, разговор наш нечаянно попал на предмет, всегда вызывавший споры: речь зашла именно о пустоте всех задач, поставляемых французами в жизни, искусстве и философии. Гоголь говорил резко, деспотически, отрывисто. Ради честности, необходимой даже в застольной беседе, я принужден был невольно указать на несколько фактов, значение и важность которых для цивилизации вообще признаваемы всеми. Гоголь отвечал горячо и тем, вероятно, поднял тон моего возмущения; однако ж спор тотчас же упал в одно время с обеих сторон, как только сделалась ощутительна в нем некоторая степень напряжения. Молча вышли мы из австории, но после немногих задумчивых шагов Гоголь подбежал к первой лавочке лимонадчика, раскинутой на улице, каких много бывает в Риме, выбрал два апельсина и, возвратясь к нам, подал с серьезной миной один из них мне. Апельсин этот меня тронул: он делался, так сказать, формулой, посредством которой Гоголь выразил внутреннюю потребность некоторого рода уступки и примирения.

Алексей Константинович Толстой. В записи П. А. Кулиша:

Когда Жуковский жил во Франкфурте-на-Майне, Гоголь прогостил у него довольно долго. Однажды, – это было в присутствии графа А. К. Толстого (поэта), – Гоголь пришел в кабинет Жуковского и, разговаривая со своим другом, обратил внимание на карманные часы с золотой цепочкой, висевшие на стене. «Чьи это часы?» – спросил он. «Мои», – отвечал Жуковский. «Ах, часы Жуковского! Никогда с ними не расстанусь». С этими словами Гоголь

надел цепочку на шею, положил часы в карман, и Жуковский, восхищаясь его проказливостью, должен был отказаться от своей собственности.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Шутки Гоголя, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал, сам же он всегда шутил не улыбаясь.

Федор Иванович Иордан:

Гоголь сидел обыкновенно опершись руками о колени, зачастую имея перед собою какие-нибудь мелкие покупки: они развлекали его.

Дмитрий Михайлович Погодин:

Детей он очень любил и позволял им резвиться и шалить сколько угодно. Бывало, мы, то есть я с сестрою, точно службу служим; каждое утро подойдем к комнате Н. В., стукнем в дверь и спросим: «Не надо ли чего?» – «Войдите», – откликнется он нам. Несмотря на жар в комнате, мы заставляли его еще в шерстяной фуфайке, поверх сорочки. «Ну, сидеть, да смирно», – скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязанье на спицах шарфа или ермолки, или в писании чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких клочках бумаги. Клочки эти он, иногда прочитывая вполголоса, рвал, как бы сердясь, или бросал на пол, потом заставлял нас подбирать их с пола и раскладывать по указанию, причем гладил по голове и благодарил, когда ему угождали; иногда же бывало, как бы рассердившись, схватит за ухо и выведет на хоры: это значило – на целый день уже и не показывайся ему.

Иван Федорович Золотарев:

У Гоголя была привычка, поймав какое-нибудь слово или рифму, которые ему почему-либо понравились, повторять их в течение нескольких дней.

Варвара Николаевна Репнина, княжна (1809–1891), знакомая Гоголя по Бадену:

У матери моей была домовая церковь. Гоголь приходил к обедне, становился в угол за печкой и молился, «как мужичок», по выражению одного молодого слуги, т. е. клал земные поклоны и стоял благоговейно.

Александра Осиповна Смирнова:

Вот что раз случилось: я вошла в гостиную, думая, что никого нет, и вдруг увидела Гоголя на диване с книгой в руках. Он держал в руке Четьи-Минеи и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собой что-то восхитительное. Когда я вошла, он как будто испугался. Ему, должно быть, показалось, что кто-то явился. Глядел – жду. «Николай Васильевич, что вы тут делаете?» Как будто проснулся. «Ничего. Житие (в июле) такого-то». Что-то приятное: молился он, что ли, – в экстазе. Чуть ли не Косьмы и Дамиана.

Ольга Васильевна Гоголь (в замужестве Головня):

По его действиям, как я замечала, видно, что он обратился более всего к Евангелию, и мне советовал, чтобы постоянно на столе лежало Евангелие. Он всегда при себе держал Евангелие, даже в дороге. Когда он ездил с нами в Сорочинцы, в экипаже читал Евангелие.

Жилище

Яновщина. Родовое имение

Григорий Петрович Данилевский:

Это было через два с половиною месяца по кончине Гоголя, в мае 1852 года.

Из-под Чугуева, где я гостил у своей матери, я отправился на почтовой перекладной через Харьков, в Миргород, а оттуда на Колонтай, Опошню и Воронянщину, в село Яновщину (Васильевка тож), на родину Гоголя, близ Диканьки. Дорога от реки Ворсклы шла Кочубеевскими степями. Поля в ту весну еще не видели косы и пышно зеленели. Цветы пестрели роскошными коврами. Голова кружилась от их благоухания.

Был полдень. Лошади лениво тащились, срывая на ходу головки махровых султанчиков. Из тележки, слегка нагибаясь, я нарвал целый их букет. Невольно вспоминались картины из «Тараса Бульбы». Те же пышные кусты репейника, будто косари в алых шапках, торчали над травой, с своими колючими косами; тот же длинный желтый дрок и белая кашка. Огромная дрохва⁷, как страус, подняв голову, осторожно пробиралась по зеленеющей пшенице, невдале от телеги. Стаи кузнечиков, поднимаясь с дороги, перед лошадьми, летели и падали в траву голубыми и розовыми, крылатыми ракетами.

– Где хутор Гоголя? – спрашивал я изредка встречавшихся путников.

– Гоголя? Не знаем! – отвечали они.

Я догадался объяснить, что хутор называется Васильевка или Яновщина.

– Яновщина? Знаем, пане, знаем! Вот туда дорога.

И мне указали проселок к Гоголю-Яновскому, в село Васильевку Рудого Панька.

От Опошни до с. Воронянщины я ехал, вследствие нестерпимого жара, почти шагом. Всю дорогу за мною, сидя на возу с корзинами спелой шелковицы, ехал на волах толстый поселянин-казак, свесив ноги с воза, лениво сгорбясь, напевая и покачиваясь от одолевавшей его дремоты. Встречавшиеся на пути толчки будили его; он просыпался и снова пел одно и то же.

Стало прохладнее. Я поехал рысью.

До села Яновщины оставалось версты три. Оно было спрятано за косогором. <...>

Хутор Яновщина выглянул, наконец, между двух зеленых, отлогих холмов. С дороги стала видна на широкой поляне каменная церковь с зеленою крышей. За церковью, спадая в долину, виднелись белые избы хутора, вперемежку с садами; слева от церкви – левада, род огромного огорода, обсаженная со стороны хутора липами и вербами. Ограда церкви – сквозная, в виде решетки, из окрашенных желтою и белою краскою кирпичей. На пути к церкви, примыкая к избам хутора, виднелась другая ограда. За нею показался господский деревянный дом с красною деревянною крышею, в один этаж; направо от него – флигель, налево – хозяйские постройки: кухня, амбар и конюшня. За домом, спускаясь к болотистому логу, зеленел старый, тенистый сад; за садом виднелись вырытые в долине пруды; за ними – неоглядные зеленые равнины украинской степи. Пруды вырыл отец Гоголя, бывший усердным хозяином.

Я въехал во двор. По его траве бегали дворовые ребятишки. Телега остановилась у крыльца. Я встал, отряхая с себя густую дорожную пыль. Никто не слышал стука телеги, и я тщетно посматривал, к кому обратиться с вопросом о хозяевах. Все было тихо. Чуть

⁷ Дрофа.

шелестели листья ясеней у садовой ограды. Звонко куковала кукушка в деревьях за церковью. Я вошел в дом. <...>

Гоголь в последние четыре года в свои приезды к матери обыкновенно помещался во флигеле, направо от большого дома. Здесь он, по словам его близких, работал и над вторым томом «Мертвых душ», с 20-го апреля по 22-е мая 1851 года, в последнее свое пребывание в Яновщине.

Флигель – низенькое, продолговатое строение, с крытою галереей, выходящею во двор. Ветхие ступени вели на крыльцо; из небольших сеней был вход в просторную комнату, род залы, а отсюда в гостиную.

В этой гостиной и в кабинете – поочередно – работал и отдыхал Гоголь. Постоянно тревожное его настроение, по словам его матери, в последний его заезд сюда заставляло его нередко менять свои рабочие комнаты. Так же точно он, по ее словам, не мог несколько ночей сряду и спать в одной и той же комнате. Трудно это приписать, как это объясняли впоследствии, мухам, которых на юге весною почти не бывает, или беспокойству от солнечных лучей; во всех комнатах флигеля я застал в мой заезд на окнах занавески. Окна гостиной выходили в особый палисадник у флигеля, огражденный высокими тополями. За ними был вид на избы хутора и на степь.

Кабинет во флигеле был расположен в другом конце здания и имел особый выход в сад. Здесь более всего оставался Гоголь. В последнее свое пребывание в Васильевке он отсюда не выходил иногда по целым дням, являясь в дом только к обеду и вечернему чаю. Это – комната в десять шагов длины и в четыре шага ширины. Два небольших ее окна выходят во двор; между ними зеркало. На окнах белые кисейные занавески. Влево от двери – печь; вправо – дубовый шкаф для книг. Этот шкаф был заказан Гоголем летом 1851 года и окончен уже без него. Влево от печи стояла деревянная, простая кровать, покрытая ковром. <...> Над кроватью в углу висел образ св. угодника Митрофания. Рабочий стол Гоголя помещался между печью и кроватью, у забитой, лишней двери. Это – на высоких ножках конторка из грушевого дерева, с косою доской, покрытою кожей. На верхней части конторки с двух сторон вделаны чернильница и песочница. На стене, над конторкою, висел привезенный Гоголем из Италии нерукотворенный образ Спасителя, писанный масляными красками.

Дом, где помещались мать и сестра Гоголя, выстроен удобно. По стенам были развешаны старинные портреты Екатерины Великой, Потемкина и Зубова и английские гравюры, изображающие рыночные и рыбацьи сцены в Англии. В зале стоял рояль, за которым Гоголь, по словам его матери, иногда любил наигрывать и петь свои любимые украинские песни, особенно веселые и плясовые. <...>

Старый, дедовский сад, где так любил гулять Гоголь, расположен во вкусе всех украинских сельских садов. Его деревья высоки и ветвисты. По сторонам тенистой дорожки, идущей вправо от садового балкона, Гоголь в последнее здесь пребывание посадил с десяток молодых деревцов клена и березы. Далее, на луговой поляне, он посадил несколько желудей, давших с новою весной свежие и сильные побеги. Влево от балкона другая, менее тенистая, дорожка идет над прудом и упирается во второй, смежный с ним пруд. По этой дорожке особенно любил гулять Гоголь. Возле нее, на пригорке, стояла деревянная беседка, разрушенная бурей вскоре за последним отъездом Гоголя из Яновщины. Тут же, недалеко, в тени нависших лип и акаций, был устроен небольшой грот, с огромным диким камнем у входа. На этом камне Гоголь, по словам его матери, играл, будучи еще ребенком по третьему году. Через сорок лет после этой поры он любил садиться на этот камень, любуясь с него видом прудов и окрестных полей.

На дальнем пруде, за садом, стояла купальня. К ней ездили на небольшом, двухвесельном плоту. Купальню Гоголь устроил для себя, но пользовался ею не более трех раз. За прудом

дом – широкая поляна, обсаженная над берегом вербами и серебристыми тополями, за которыми Гоголь ухаживал с особым участием.

– Вот туда, за церковь, – заметила Марья Ивановна, указывая, – сын любил по вечерам один ходить в поле.

Это был проселок в деревни Яворовщину и Толстое, куда нередко, в прежнее время бывая здесь, Гоголь хаживал пешком в гости, своеобразно рассказывая друзьям, как он совершал возвратный путь, пополам «с подседом на чужие телеги», а потом опять «с напуском пехондачка». За последние годы он почти никого не посещал из соседей.

Ольга Васильевна Гоголь (*в замужестве Головня*):

Прежде, когда он приезжал, то занимал комнату в доме с нами; а как сестры заняли его комнату, тогда он постоянно в флигеле занимался. В одной комнате стояла его кровать и конторка, на которой он занимался, а в другой комнате, между окнами – ломберный стол; там лежали его книги, которые он с собою привозил. Потом заказал столяру полки, вроде этажерки, на тот стол поставил для книг. Конторку желтую, на которой он прежде занимался, также сестры заняли, то он заказал сделать себе черную конторку. В этой самой комнате еще стоял диван, перед диваном круглый стол, по бокам кресла; там он пил кофе, а третьей комнаты не занимал.

1833–1836. В Петербурге, на Малой Морской улице, 97

Павел Васильевич Анненков:

Гоголь жил на Малой Морской, в доме Лепена, на дворе, в двух небольших комнатах, и я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него.

1841. Квартира в Риме. Strada Felice, 126

Павел Васильевич Анненков:

Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри. Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату, тогда принадлежавшую В. А. Панову, а по отъезде его в Берлин доставшуюся мне. У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро – стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро, да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло. Ночник или, говоря пышнее, римская лампа стояла на окне, и по вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей.

Дом М. П. Погодина в Москве

Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892), *поэт:*

На восходящей от парадного крыльца стеклянной галерее шла налево дверь в переднюю, из которой неширокий коридор проходил через весь дом до противоположного, девичьего крыльца, отделяя большую половину дома, с приемной, обширной гостиной, превращенной в кабинет Погодина, с балконом на Девичье Поле, от домашних помещений. За парадной анфиладой находилась спальня и вообще женские комнаты. За глухой стеной погодинского кабинета находилась довольно обширная столовая, освещаемая сверху стеклянным куполом, крыша которого виднелась со всех пунктов Девичьего Поля. Снизу столовая эта представлялась снабженной хорами, но, в сущности, она была балюстрадой, ведущей в комнаты мезонина, в которых мне бывать не пришлось, но памятных тем, что там с полгода проживал Гоголь. В кабинете Погодина глазам непосвященного представлялся невообразимый хаос. Тут всевозможные старинные книги лежали грудями на полу, а на ореховых столах громадные каменные глыбы с татарскими и сибирскими надписями, не говоря уже о сотнях рукописей с начатыми работами, места которых, равно как и ассигнаций, запрятанных по разным книгам, знал только Погодин. Посредине коридора дверь направо шла мимо домашних комнат, в сад, начинавшийся лужайкою с беломраморной посредине вазой. Далее шла широкая и старинная липовая аллея до самого конца сада, с беседкою из дикого винограда. Кроме разнородных и тенистых деревьев, свешивавшихся через высокий деревянный забор на Девичье Поле, и обширных прудов, задернутых летом «зеленою сетью трав», при саде было большое количество земли, сдаваемые ежегодно под огородные овощи.

1850–1852. Москва. Квартира в доме Талызиной на Никитском бульваре. Последнее пристанище Гоголя

Осип Максимович Бодянский (1808–1877), славист, профессор Московского университета (с 1842), секретарь Общества истории и древностей российских (с 1845). Из дневника:

12 мая <1850 г.>. Наконец я собрался к Н. В. Гоголю. Вечером в часов девять отправился к нему, в квартиру графа Толстого, на Никитском бульваре, в доме Талызиной. У крыльца стояли чьи-то дрожки. На вопрос мой: «Дома ли Гоголь?» – лакей отвечал, запинаясь: «Дома, но наверху у графа». – «Потрудись сказать ему обо мне». Через минуту он воротился, прося зайти в жилье Гоголя, внизу, в первом этаже, направо, две комнаты. Первая вся устлана зеленым ковром, с двумя диванами по двум стенам (первый от дверей налево, а второй за ним, по другой стене); прямо печка с топкой, заставленной богатой гардинкой зеленой тафты (или материи) в рамке; рядом дверь у самого угла к наружной стене, ведущая в другую комнату, кажется, спальню, судя по ширмам в ней, на левой руке; в комнате, служащей приемной, сейчас описанной, от наружной стены поставлен стол, покрытый зеленым сукном, поперек входа к следующей комнате (спальне), а перед первым диваном тоже такой же стол. На обоих столах несколько книг кучками одна на другой: тома два «Христианского чтения», «Начертание церковной библейской истории», «Быт русского народа», экземпляра два греко-латинского словаря (один Гедеринов), словарь церковно-русского языка, Библия в большую четвертку московской новой печати, подле нее молитвослов киевской печати, первой четверти прошлого века; на втором столе (от внешней стены), между прочим, сочинения Батюшкова в издании Смирдина «русских авторов», только что вышедшие, и проч.

Охота к перемене мест

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма С. Т. Аксакову 28 декабря 1840 г., из Рима:*
О, если б я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительная для меня...

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма М. П. Погодину 17 октября 1840 г., из Рима:*
С какою бы радостью я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, чем дальше, тем лучше. Клянусь, я бы был здоров.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. А. Жуковскому 12 сентября 1845 г., из Греффенберга:*

Я тогда только и чувствовал себя хорошо, когда бывал в дороге. Дорога меня спасала всегда, когда я засиживался долго на месте или попадал в руки докторов, по причине малодушия своего, которые всегда мне вредили, не зная ни на волос моей природы.

Михаил Александрович Максимович (1804–1873), этнограф, историк, профессор ботаники Московского университета:

Его все занимало в дороге, как ребенка, и он часто, для выражения своих желаний, употреблял язык, каким любят объясняться между собою школьники. Так, например, ложась спать, он «отправлялся к Храповицкому», а когда желал только отдохнуть, то говаривал своему спутнику: «Не пойти ли нам к Полежаеву?» Ходил он также к «Обедову» и к другим господам по разным надобностям, и все это без малейшего вида шутки. Когда надоедало ему сидеть и лежать в бричке, он предлагал товарищу «пройти пехандачка» и мимоходом собирал разные цветы, вкладывал их тщательно в книжку и записывал их латинские и русские названия <...>.

Во время дороги Гоголь, кроме обычных своих шуточек, вообще говорил мало, и в этом малом мысли его обращались преимущественно к предметам практической жизни. Так, например, он рассуждал о современной страсти к комфорту и роскоши и приходил к такому заключению, что «нам необходимо приучать себя к суровости жизни, а то комфорт и роскошь заводят нас так далеко, что мы проматываемся час от часу более и наконец нам нечем жить». На этом основании он отвергал употребление в сельском быту рессорных экипажей, особенно для людей его состояния, и придумывал, как бы взять в этом случае средину между дорогим комфортом и грубою дешевизною.

Алексей Константинович Толстой, граф (1817–1875), поэт, прозаик, драматург:

Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем его разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, «чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился».

Актерский талант

Александр Семенович Данилевский (1809–1888), земляк и друг детства Гоголя, учился с ним в Полтаве и в Нежине:

Гоголь удивительно воспроизводил те черты, которые мы не замечали, но которые были чрезвычайно характерны. Он был превосходный актер. Если бы он поступил на сцену, он был бы Щепкиным.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Кроме мимики, Гоголь умел перенимать и голос других. Во время своего пребывания в Петербурге он любил представлять одного старичка, Б., которого он знал в Нежине. Один из его слушателей, никогда не выдавший этого Б., приходит раз к Гоголю и видит какого-то старичка, который играет на ковре с детьми. Голос и манеры этого старичка тотчас напомнили ему представление Гоголя. Он отводит хозяина в сторону и спрашивает, не Б. ли это. Действительно, это был Б.

Владимир Александрович Соллогуб:

Кто не слышал читавшего Гоголя, тот не знает вполне его произведений. Он придавал им особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробежавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его глаза добродушно улыбались и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами.

Павел Васильевич Анненков:

Чтение его, если уже раз ухо ваше попривыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффективным частям произведения и такой яркий колорит получали они в устах его!

Тимофей Григорьевич Пашенко, брат гимназического товарища Гоголя *И. Г. Пашенко*:

На вечере у Дмитриева собралось человек двадцать пять московских литераторов, артистов и любителей, в числе которых был и знаменитый Щепкин с двумя своими дочерьми. Гостеприимный хозяин и все просили Гоголя прочесть «Женитьбу». Гоголь сел и начал читать. По одну сторону Гоголя сидел Дмитриев, а по другую Щепкин. Читал Гоголь так превосходно, с такою неподражаемою интонацией, переливами голоса и мимикой, что слушатели приходили в восторг, не выдерживали и прерывали чтение различными восклицаниями. Кончил Гоголь и свистнул... Восторженный Щепкин сказал так: «Подобного комика не видал в жизни и не увижу!» Потом, обращаясь к дочерям, которые готовились поступить на сцену: «Вот для вас высокий образец художника, вот у кого учитесь!»

Михаил Петрович Погодин:

Читал Гоголь так, как едва ли кто может читать. Это было верх удивительного совершенства. Скажу даже вот что: как ни отлично разыгрывались его комедии или, вернее сказать, как ни передавались превосходно иногда некоторые их роли, но впечатления никогда не производили они на меня такого, как в его чтении. Читал он однажды у меня, в большом собрании, свою «Женитьбу», в 1834 или 1835 году. Когда дошло дело до любовного объяснения у жениха с невестою – «в которой церкви вы были в прошлое воскресение? какой цветок больше любите?» – прерываемого троекратным молчанием, он так выражал это молчание,

так оно показывалось на его лице и в глазах, что все слушатели буквально покатывались со смеху, а он, как ни в чем не бывало, молчал и поводил только глазами.

Алексей Терентьевич Тарасенков:

Простота, внятность, сила его произношения производили живое впечатление, а певучесть имела в себе нечто музыкальное, гармоническое. При чтении даже чужих произведений умел он с непостижимым искусством придавать вес и надлежащее значение каждому слову, так что ни одно из них не пропадало для слушающих. В. А. Жуковский по этому поводу сказал, что ему никогда так не нравились его собственные стихи, как после прочтения их Гоголем.

Лев Иванович Арнольди:

Помню, что каждый вечер читал нам Гоголь «Одиссею» в переводе Жуковского и восхищался каждой строчкой. Читал он стихи превосходно и досадовал, когда мы не восхищались теми местами, на которые он особенно указывал <...>.

Александр Павлович Толченев:

После чаю все уселись вокруг стола, за которым сидел Гоголь; водворилась тишина, и Гоголь начал чтение «Школы женщин». По совести могу сказать – такого чтения я до тех пор не слыхивал. Поистине, Гоголь читал мастерски, но мастерство это было особого рода, не то, к которому привыкли мы, актеры. Чтение Гоголя резко отличалось от признаваемого при театре за образцовое отсутствием малейшей эффектности, малейшего намека на декламацию. Оно поражало своей простотой, безыскусственностью и вместе с тем необычайной образностью, и хотя порою, особенно в больших монологах, оно казалось монотонным и иногда оскорблялось резким ударением на цезуру стиха, но зато мысль, заключенная в речи, рельефно обозначалась в уме слушателя и, по мере развития действия, лица комедии принимали плоть и кровь, делались лицами живыми, со всеми оттенками характеров. Впоследствии, на одном из вечеров у Оттона <...> Гоголь читал свою «Лакейскую», и лицо дворцкого еще до сих пор передо мною как живое. Перенять манеру чтения Гоголя, подражать ему, было бы невозможно, потому что все достоинство его чтения заключалось в удивительной верности тону и характеру того лица, речи которого он передавал, в поразительном умении подхватывать и выражать жизненные, характерные черты роли, в искусстве оттенять одно лицо от другого, то есть в том, что в сценическом искусстве называется созданием характера, типа.

Дмитрий Александрович Оболенский:

Гоголь мастерски читал: не только всякое слово у него выходило внятно, но, переменяя часто интонацию речи, он разнообразил ее и заставлял слушателя усваивать самые мелочные оттенки мысли. Помню, как он начал глухим и каким-то гробовым голосом: «Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что же делать, если уже таковые свойства сочинителя и, заболев собственным несовершенством, уже и не может он изображать ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши и отдаленных закоулков государства? И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок». После этих слов внезапно Гоголь приподнял голову, встряхнул волосы и продолжал уже громким и торжественным голосом: «Зато какая глушь и какой закоулок!»

За сим началось великолепное описание деревни Тентетникова, которое, в чтении Гоголя, выходило как будто писано в известном размере. <...>

Разговоры выведенных лиц Гоголь читал с неподражаемым совершенством. Когда, изображая равнодушное, обленившееся состояние байбака Тентетникова, сидящего у окна с холодной чашкой чая, он стал читать сцену происходящей на дворе перебранки небритого буфетчика Григорья с ключницей Перфильевной, то казалось, как бы действительно сцена эта происходила за окном и оттуда доходили до нас неясные звуки этой перебранки.

Иван Сергеевич Тургенев:

Дня через два (в действительности через две недели, 5 ноября 1851 г. – Сост.) происходило чтение «Ревизора» в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я выпросил позволение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей, и – если не ошибаюсь – Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя; им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение... Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел, точно, больным человеком. Он принялся читать – и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно... Я слушал его тогда в первый – и в последний раз. Диккенс также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его – драматическое, почти театральное; в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет – есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный – особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться – хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренне дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело – и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пьесы): «Пришли, понюхали и пошли прочь!» – Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить – обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор». Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась, и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор – и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился; с размаху ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: «Ведь я велел тебе никого не впускать!» Молодой литератор слегка пошевелился на стуле – а впрочем, не смутилсянисколько. Гоголь отпил немного воды – и снова принялся читать: но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы – и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполнявшему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностию своего положения, и окружающей его средой,

и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет – и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга – это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило». «Просители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачет – а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!» Вот какое впечатление производил в устах Гоголя хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение «Ревизора» в тот день было – как Гоголь сам выразился – не более, как намек, эскиз <...>.

Григорий Петрович Данилевский:

Никогда не забуду чтения Гоголя. Особенно он неподражаемо прочел монологи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчинским. «У вас зуб со свистом», – произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришептывая при этом, будто и у него свистел зуб. Неудержимый смех слушателей изредка невольно прерывал его. Высокохудожественное и оживленное чтение под конец очень утомило Гоголя. Его сил как-то вообще хватало ненадолго. Когда он дочитал заключительную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели долго стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои впечатления. Щепкин, отирая слезы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в чем главные силы роли Хлестакова.

Интересы и увлечения

Александр Семенович Данилевский:

Гоголь любил все искусства вообще, любил и петь; но, между тем, как он делал большие успехи в рисовании, пение не давалось ему благодаря недостатку музыкального слуха. Но в хоре (гимназическом. – Сост.) он участвовал, когда во время рекреаций воспитанники пели стихи:

Златые наши дни, теките!
Красуйся ты, наш русский царь!..

Павел Васильевич Анненков:

Гоголь собирал (в 1830-е гг. – Сост.) английские кипсеки⁸ с видами Греции, Индии, Персии и проч., той известной тонкой работы на стали, где главный эффект составляют необычайная обделка гравюры и резкие противоположности света с тенью. Он любил показывать дорогие альманахи, из которых, между прочим, почерпал свои поэтические воззрения на архитектуру различных народов и на их художественные требования.

Со слов Александра Семеновича Данилевского, в записи В. И. Шенрока:

В первые же недели жизни Гоголя в Париже они с Данилевским успели вдвоем осмотреть все выдающиеся достопримечательности его: картинные галереи Лувра, Jardin des Plantes, съездили в Версаль и проч. Часто отправлялись они вместе в театр, преимущественно в оперу. Вместе ходили обедать в разные кафе, которые называли обыкновенно в шутку «храмами», а после обеда подолгу оставались там играть на бильярде.

Александра Осиповна Смирнова:

Из Бадена Гоголь ездил со мной и с моим братом на три дня в Страсбург. Там в кафедральной церкви он срисовывал карандашом на бумажке орнаменты над готическими колоннами, дивясь избирательности старинных мастеров, которые над каждой колонной делали отменные от других украшения. Я взглянула на его работу и удивилась, как он отчетливо и красиво срисовывал. – «Как вы хорошо рисуете!» – сказала я. – «А вы этого и не знали?» – отвечал Гоголь. Через несколько времени он принес мне нарисованную пером часть церкви очень искусно. Я любовалась его рисунком, но он сказал, что нарисует для меня что-нибудь лучше, а этот рисунок тотчас изорвал.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма В. А. Жуковскому, февраль 1839 г., из Рима:*

Моя портфель с красками готова, с сегодняшнего дня отправляюсь рисовать на весь день, я думаю, в Колизей. Обед возьму в карман. Дни значительно прибавились. Я вчера пробовал рисовать. Краски ложатся сами собою, так что потом дивишься, как удалось подметить и составить такой-то колорит и оттенок. Если бы вы остались здесь еще неделю, вы бы уже не принялись за карандаш. Колорит потеплел необыкновенно, всякая развалина, колонна, куст, ободранный мальчишка, кажется, воют к вам и просят красок.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма Н. Я. Прокоповичу 2 ноября 1837 г., из Рима:*

Если что-нибудь вышло по части русской исто<рии>, издания Нестора, или Киевской летописи, Ипатьевской, или Хлебниковского списка, – пожалуйста, пришли. Если

⁸ Великолепно изданная книга (англ.).

вышел перевод «Славянской истории» Шафарика или что-нибудь относительно славян, или мифологическая славянской?, также какие-нибудь акты к древней русской истории, или хорошее издание русских песен, или малороссийских песен – все это возьми у Смирдина, пусть поставит на мой счет; также, если есть что новое насчет раскольничьих сект. Если вышло Снегирева описание праздников и обрядов, пришли, или другого какого-нибудь.

Василий Игнатьевич Любич-Романович:

Гоголь любил ботанику. И всегда, когда у него была свободная минута, он отправлялся в лицейский сад и там подолгу беседовал с садовником о предметах его задач. – «Ты рассказывай деревья не по ранжиру, как войска в строю, один подле другого на рассчитанном расстоянии, а так, как сама природа это делает», – говорил он. И, взяв в руку несколько камешков, он бросал их на поляну, добавляя притом: – «Вот тут и сажай деревцо, где камень упал».

Николай Васильевич Гоголь. Из письма матери 24 марта 1827 г., из Нежина:

Весна приближается. Время самое веселое, когда весело можем провести его. Это напоминает мне времена детства, мою жаркую страсть к садоводству. Это-то время было обширный круг моего действия. Живо помню, как бывало с лопатой в руке, глубокомысленно раздумываю над изломанною дорожкой... Признаюсь, я бы желал когда-нибудь быть дома в это время. Я и теперь такой же, как и прежде, жаркий охотник к саду.

Ольга Васильевна Гоголь (в замужестве Головня):

По другую сторону пруда у нас был сад. Там было вроде леса, никакой дорожки не было; брат принялся делать аллеи; прежде, как были люди крепостные – три дня панщина, а три дня их дни, то брат, чтобы не лишить матери работников, нанимал работников на их днях чистить дорожки. Сам там был по целым дням. Раз спросил у меня: «Ты можешь встать в три часа, чтобы побыть около работников, пока я приеду?» Я обещала встать и велела разбудить меня, как только солнце взойдет. Тогда у нас был плотик и мы переезжали на ту сторону. В семь часов брат приехал на плотике и с благодарной улыбкой поздоровался со мною и сейчас же отправил меня домой, сказал: «Иди спать». Итак, за все время, пока он пробыл у нас, прочистил все аллеи, которые и теперь поддерживаются.

Анна Васильевна Гоголь:

Из посаженных братом деревьев в обоих садах сохранились несколько кленов. Это было его любимое дерево.

Лев Иванович Арнольди:

Простившись с шоссе, поехали уже по большой калужской дороге. Гоголь продолжал быть в духе, восхищался свежей зеленью деревьев, безоблачным небом, запахом полевых цветов и всеми прелестями деревни. Мы ехали довольно тихо, а он беспрестанно останавливал кучера, выскакивал из тарантаса, бежал через дорогу в поле и срывал какой-нибудь цветок; потом садился, рассказывал мне довольно подробно, какого он класса, рода, какое его лечебное свойство, как называется он по-латыни и как называют его наши крестьяне. Окончив трактат о цветке, он втыкал его перед собой за козлами тарантаса и через пять минут опять бежал за другим цветком, опять объяснял мне его качества, происхождение и ставил на то же место. Таким образом, через час с небольшим образовался у нас в тарантасе целый цветник желтых, лиловых, розовых цветов. Гоголь признался, что всегда любил ботанику и в особенности любил знать свойства, качества растений и доискиваться, под какими именами эти растения известны в народе и на что им употребляются. Терпеть не могу, приба-

вил он, эти новые ботаники, в которых темно и ученым слогом толкуют о вещах самых простых. Я всегда читаю те старинные ботаники и русские и иностранные, которые теперь уже не в моде, а которые между тем сто раз лучше объясняют вам дело.

Павел Васильевич Анненков:

У Гоголя была некоторая страсть к рукодельям: с приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже и проч., и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставлял его перед столом с ножницами и другими портняжными матерьялами, в сильной задумчивости.

Григорий Петрович Данилевский:

Оставаясь среди семьи, он в особенности любил приниматься за разные домашние работы; кроме рисования узоров для любимого его матерью тканья ковров, он кроил сестрам платья и принимал участие в обивке мебели и в окраске оштукатуренных при его пособии стен. Я застал гостиную в доме его матери раскрашенную его рукой в виде широких голубых полос по белому полю, зал с белыми и желтыми полосами.

Елизавета Васильевна Гоголь (в замужестве *Быкова*; 1823–1864), сестра Гоголя:

Дома он очень входил в хозяйство и занимался усадьбой и садом; он сам раскрасил красками стены и потолки в зале и гостиной; наденет, бывало, белый фартук, станет на высокую скамейку и большими кистями рисует, – так он нарисовал бордюры, букеты и арабески. <...>

Квартиру (в Петербурге, в 1832 г. – *Сост.*) брат переменял при нас два раза и устраивал решительно все сам, кроме занавесок, которые шила женщина, но которые он все-таки сам кроил и даже показывал, как шить.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

В это пребывание свое в Москве (зимой 1840 г. – *Сост.*) Гоголь играл иногда в домино с Константином и Верой, и она проиграла ему дорожный мешок (*sac de voyage*).

Александра Осиповна Смирнова:

У некоторых (купцов в Калуге, в 1849 г. – *Сост.*) засиживался и играл подолгу в шашки.

Александра Осиповна Смирнова:

Гоголь всегда читал в «Инвалиде» статью о приезжающих и отъезжающих. Это он научил Пушкина и Мятлева вычитывать в «Инвалиде», когда они писали памятки. Гоголь говорил: «Я постараюсь известить публику, что „Инвалид“ в фельетоне заключает интересные сведения. Мы в Калуге слевой (Л. И. Арнольди) ежедневно читали эту интересную газету и вычитали раз, что прапорщик Штанов приехал из Москвы в Калугу, через три дня узнали, что он поехал в Орел. Из Орла он объехал наш город и поехал прямо в Москву. Из Москвы в дилижансе в столичный город Санкт-Петербург. Так было напечатано слово в слово в фельетоне „Инвалида“. Оттуда прямо в Москву, а из Москвы в Калугу, а из Калуги в Орел. Мы рассчитали, что прапорщик Штанов провел на большой дороге отпускные двадцать один день. А зачем он делал эти крюки, это неизвестно и осталось государственной тайной».

Гардероб

Иван Григорьевич Кулжинский (1803–1884), преподаватель латинского языка в *Нежинской гимназии* (1825–1829):

Окончив курс наук, Гоголь прежде всех товарищей своих, кажется, оделся в партикулярное платье. Как теперь вижу его, в светло-коричневом сюртуке, которого полы подбиты были какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка почиталась тогда *plus ultra* молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками, как будто ненарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку.

Павел Васильевич Анненков:

(В 1832–1833 гг. – Сост.). Важнее других бывал складчинный обед в день его именин, 9-го мая, к которому он обыкновенно уже одевался по-летнему, сам изобретая какой-то фантастический наряд. Он надевал обыкновенно яркопестрый галстучек, взбивал высоко свой завитой кок, облакался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на петушка, по замечанию одного из его знакомых (Белюсова).

Сергей Тимофеевич Аксаков:

(В 1832 г. – Сост.). В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой.

Ольга Васильевна Гоголь (в замужестве *Головня*):

Тогда (в середине 1830-х гг. – Сост.) братец был большим франтом: у него всегда в чемодане было несколько сюртуков, разных цветов, и целая коллекция жилетов, он, видно, очень любил разноцветные жилеты: каких только цветов и из каких только материй не было у него жилетов: и шелковые, и бархатные, и зеленые, и голубые, а однажды он привез с собою жилет из очень дорогой золотой парчи, которого однако почти никогда не надевал, а потом подарил его мне...

Петр Петрович Каратыгин, сын драматического актера *Петра Андреевича Каратыгина*. *Со слов отца*

(18 апреля 1836 г. – Сост.): Невысокого роста блондин с огромным тупеем, в золотых очках на длинном птичьем носу, с прищуренными глазками и плотно сжатыми, как бы прикуснутыми губами. Зеленый фрак с длинными фалдами и мелкими перламутровыми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа-цилиндр, которую Гоголь то порывисто снимал, запуская пальцы в свой тупей, то вертел в руках, все это придавало его фигуре нечто карикатурное.

Иван Федорович Золотарев:

Когда Гоголь был в Гамбурге (в 1836 г. – Сост.), то заказал себе все платье из тика, и, когда ему указывали, что он делает себя смешным, Гоголь возражал: «Что же тут смешного? Дешево, моется и удобно». Сделав себе упомянутый костюм, он написал четверостишие:

Счастлив тот, кто сшил себе
В Гамбурге штанишки.
Благодарен он судьбе
За свои делишки.

Четверостишие это он повторял потом целую неделю.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. С. Данилевскому 13 мая 1838 г., из Рима:*

Белая шляпа уже давно носится на голове моей... но блуза еще не надевалась. Прошное воскресенье ей хотелось очень немного порисоваться на моих широких и вместе тщедушных плечах, по случаю предположенной было поездки в Тиволи; но эта поездка не состоялась.

Федор Иванович Иордан:

Часто встретишь его (в Риме, в 1838 г. – Сост.), бывало, в белых перчатках, щегольском пиджаке и синего бархата жилете <...>.

Павел Васильевич Анненков:

Последнее мое свидание с Гоголем было в 1839 году, в Петербурге, когда он останавливался в Зимнем дворце, у Жуковского. Первые главы «Мертвых душ» были уже им написаны, и однажды вечером, явившись в голубом фраке с золотыми пуговицами, с какого-то обеда, к старому товарищу своему Н. Я. Прокоповичу, он застал там всех скромных, безызвестных своих друзей и почитателей, которыми еще дорожил в то время <...>.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

На другой день (27 ноября 1839 г. – Сост.) поутру я поехал к Гоголю. Мне сказали, что его нет дома, и я зашел к его хозяину, к Жуковскому. Я не был с ним коротко знаком, но по Кавелину и Гоголю он хорошо меня знал. Я засиделся у него часа два. Говорили о Гоголе. <...> Наконец я простился с ласковым хозяином и сказал, что зайду узнать, не воротился ли Гоголь, которого мне нужно видеть. «Гоголь никуда не уходил, – сказал Жуковский, – он дома и пишет. Но теперь пора уже ему гулять. Пойдемте». И он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь. Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер⁹; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордочек. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы очевидно ему помешали. Он долго, не зря, смотрел на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся. Жуковский сейчас ушел <...>. Я звал его гулять, но он возразил, что еще рано. Я, увидев, что ему надобно было что-то кончить, сейчас с ним простился.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

Гоголь любил уединенные прогулки (в Остенде, в 1844 г. – Сост.), и его видали каждый день, в известные часы, в черном пальто и в серой шляпе, бродящим взад и вперед по морской плотине, с наружным выражением глубокой грусти.

Николай Васильевич Берг:

(В 1848 г. – Сост.). Ходил он вечно в одном и том же черном сюртуке и шароварах. Белья не было видно. Во фраке, я думаю, видали Гоголя немногие. На голове, сколько могу припомнить, носил он большей частью шляпу, летом – серую, с большими полями.

⁹ Короткая куртка с длинными рукавами.

Лев Иванович Арнольди:

(В 1849 г. – Сост.). Мы много смеялись, Гоголь был в духе, беспрестанно снимал свою круглую серую шляпу, скидывал свой зеленый камлотовый¹⁰ плащ и, казалось, вполне наслаждался чудным теплым июньским вечером, вдыхая в себя свежий воздух полей. <...>

Иногда Гоголь поражал меня своими странностями. Вдруг явится к обеду в ярких желтых панталонах и в жилете светло-голубого, бирюзового цвета; иногда же оденется весь в черное, даже спрячет воротничок рубашки и волосы не причешет, а на другой день, опять без всякой причины, явится в платье ярких цветов, приглаженный, откроет белую, как снег, рубашку, развесит золотую цепь по жилету и весь смотрит каким-то именинником. Одевался он вообще без всякого вкуса и, казалось, мало заботился об одежде, а зато в другой раз надевает что-нибудь очень безобразное, а между тем видно, что он много думал, как бы нарядиться покрасивее.

Александра Осиповна Смирнова:

(В 1849 г. – Сост.). В воскресенье он пил кофий с нами и приходил в полном параде, в светло-желтых нанковых панталонах, светло-голубом жилете с золотыми пуговицами и в темном синем фраке с большими золотыми пуговицами и в белой пуховой шляпе.

Иероним Иеронимович Ясинский (1850–1931), писатель, поэт, переводчик, журналист, коллекционер, мемуарист:

На нем был темный гранатовый сюртук, и Михольский (со слов которого написан этот рассказ), в качестве франта, обратил внимание на жилетку Гоголя. Эта жилетка была бархатная, в красных мушках по темно-зеленому полю, а возле красных мушек блестели светло-желтые пятнышки по соседству с темно-синими глазками. В общем, жилетка казалась шкуркой лягушки.

Александр Павлович Толченев:

(В Одессе, в 1850–1851 гг. – Сост.). Постоянный костюм Гоголя состоял из темно-коричневого сюртука с большими бархатными лацканами; жилет из темной с разводами материи и черных брюк; на шее красовался или шарф с фантастическими узорами, или просто обматывалась черная шелковая косынка, зашпиленная крест-накрест обыкновенной булавкой; иногда на галстук выпускались отложные, от сорочки, остроугольные воротнички. Шинель коричневая, на легкой вате, с бархатным воротником. В морозные дни енотовая шуба. Шляпа-цилиндр с конусообразной тульей. Перчатки черные.

Григорий Петрович Данилевский:

(В 1851 г. – Сост.). Он был одет в темно-коричневое длинное пальто и в темно-зеленый бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которой, поверх атласного черного галстука, виднелись белые, мягкие воротнички рубахи.

Лев Иванович Арнольди:

Глава первого тома «Мертвых душ» оканчивается таким образом: один капитан, страстный охотник до сапогов, полежит, полежит и соскочит с постели, чтобы примерить сапоги и походить в них по комнате, потом опять ляжет и опять примеряет их. Кто поверит, что этот страстный охотник до сапогов не кто иной, как сам Гоголь? И он даже нисколько не скрывал этого и признавался в этой слабости, почитая слабостью всякую привычку, всякую излишнюю привязанность к чему бы то ни было. В его маленьком чемодане всего было

¹⁰ Из плотной ткани.

очень немного, и платья и белья ровно столько, сколько необходимо, а сапогов было всегда три, часто даже четыре пары, и они никогда не были изношены. Очень может быть, что Гоголь тоже, оставаясь у себя один в комнате, надевал новую пару и наслаждался, как и тот капитан, формою своих сапогов, а после сам же смеялся над собою.

Гастроном

Василий Игнатьевич Любич-Романович:

[В гимназии] он постоянно сосал медовые пряники, ел сладости и пил грушевый квас, который был его любимым напитком. Гоголь и сам его готовил из моченых лесных груш или покупал его на городском базаре у баб-хохлушек, таких же неряшливых, как и он сам. Но его ничуть это не стесняло, и он с наслаждением поедал все, что приобретал тут, как съедобное.

Александра Осиповна Смирнова:

Гоголь любил лакомиться, и у него в карманах, особенно в детстве, всегда были какие-либо пряники, леденцы и т. п. Живя в гостинице, он никогда не позволял прислуге уносить поданный к чаю сахар, а собирал его, прятал где-нибудь в ящике и порою грыз куски за работой или разговором. «Зачем, – говорил он, – оставлять его хозяину гостиницы? Ведь мы за него уплатили». Происходило это, конечно, не от скупости. Гоголь никогда не был скупым.

Михаил Петрович Погодин:

Запас отличного чаю у него никогда не переводился, но главным делом для него было набирать различные печенья к чаю. И где он отыскивал всякие крендельки, булочки, сухарики, – это уже только знал он, и никто более. Всякий день являлось что-нибудь новое, которое он давал сперва всем отведывать, и очень был рад, если кто находил по вкусу и одобрял выбор какою-нибудь особенною фразой. Ничем более нельзя было сделать ему удовольствия.

Елизавета Васильевна Гоголь (в замужестве Быкова):

Впрочем, он и сам был большой лакомка, и иногда один съедал целую банку варенья, и если я в это время прошу у него слишком много, то он всегда говорил: «Погоди, я вот лучше покажу тебе, как ест один мой знакомый, смотри – вот так, а другой – этак» и т. д. И пока я занималась представлением и смеялась, он съедал всю банку.

Ольга Васильевна Гоголь (в замужестве Головня):

Я стала примечать, что он любит, то готовила ему. За обедом я ставила перед его прибором две маленькие вазы варенья, какие он любил <...>.

Вера Александровна Нащокина:

Любил всякие малороссийские кушанья, особенно галушки, что у нас часто для него готовили.

Дмитрий Михайлович Погодин:

Особенно хорошее расположение духа вызывали в нем любимые им макароны; он тут же за обедом и готовил их, не доверяя этого никому. Потребуется себе большую миску и с искусством истинного гастронома начнет перебирать их по макаронке, опустит в дымящуюся миску сливочного масла, тертого сыру, перетрясет все вместе и, открыв крышку, с какой-то особенно веселой улыбкой, обведя глазами всех сидящих за столом, воскликнет: «Ну, теперь ратуйте, люди!»

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Третьего числа (января 1840 г. – Сост.), часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны. В обыкновенное время обеда Гоголь приехал к нам с Щепкиным, но меня опять не было дома: я поехал выручать свою шубу, которою обменялся с кем-то в Опекунском совете. По необыкновенному счастью, я нашел свою прекрасную шубу, висящую на той же вешалке <...>. Чрезвычайно обрадованный, я возвратился весел домой, где Гоголь и Щепкин уже давно меня ожидали. Гоголь встретил меня следующими словами: «Вы теперь сироты, и я привез макарон, сыру и масла, чтоб вас утешить. Я же слышал, что вы такой славный мех подцепили, что в нем есть не только звери, но и птицы и чорт знает что такое». Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя, соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тяжести, на которую некоторые потом жаловались.

Иван Федорович Золотарев:

Из наиболее любимых Гоголем блюд было козье молоко, которое он варил сам особым способом, прибавляя туда рому (последний он возил с собой во флаконе). Эту стряпню он называл гоголь-моголем и часто, смеясь, говорил: «Гоголь любит гоголь-моголь».

Михаил Александрович Максимович:

На станциях он покупал молоко, снимал сливки и очень искусно делал из них масло с помощью деревянной ложки. В этом занятии он находил столько же удовольствия, как и в собирании цветов.

Лев Иванович Арнольди:

Гоголь стал заказывать обед, выдумал какое-то новое блюдо из ягод, муки, сливок и еще чего-то, помню только, что оно вовсе не было вкусно.

Павел Васильевич Анненков:

Между тем мы подошли к дилижансу: там уже впрягли лошадей, и пассажиры начали суетиться около мест своих. «А что, разве вы и в самом деле останетесь без обеда?» – спросил я. «Да, кстати, хорошо, что напомнили: нет ли здесь где кондитерской или пирожной?» Пирожная была под рукою. Гоголь выбрал аккуратно десяток сладких пирожков, с яблоками, черносливом и вареньем, велел их завернуть в бумагу и потащил с собой этот обед, который, конечно, не был способен укрепить его силы.

Михаил Петрович Погодин:

Расскажу еще кстати один анекдот о Гоголе. После чаю он обыкновенно водил нас по Риму, и к двум часам приводил в гостиницу Лепри на Корсо или к Scalinata, близ Piazza di Spagna, обедать; но сам никогда ничего не ел, говоря, что не имеет аппетита и что только

часам к шести может что-нибудь проглотить. Так он оставлял нас, и мы после обеда шли к Шевыреву или к учителю, который давал нам итальянские уроки. Так продолжалось недели две. Однажды вечером встретился я у княгини Волконской с Бруни и разговорился о Гоголе. – «Как жаль, – сказал я, – что здоровье его так медленно поправляется!» – «Да чем же он болен?» – спрашивает меня с удивлением Бруни. – «Как чем? – отвечаю я. – Разве вы ничего не знаете? У него желудок расстроен; он не может есть ничего». «Как не может, что вы говорите? – воскликнул Бруни, захохотав изо всех сил. – Да мы ходим нарочно смотреть на него иногда за обедом, чтоб возбуждать в себе аппетит: он ест за четверых. Приходите, когда угодно, около шести часов к Фалькони». Отправились мы гурьбой на другой день к Фалькони. Это была маленькая, тесненькая трагтория, в захолустье, вроде наших харчевен, если и почище, то немного. Но Фалькони славился отличной, свежей провизией. Мы пришли и заперлись наглухо в одной каморке подле Гоголевой залы, сказав, что хотим попить особю, и спросили себе бутылку Дженсано. К шести часам, слышим, действительно, является Гоголь. Мы смотрим через перегородку. Проворные мальчуганы, camerieri, привыкшие к нему, смотрят в глаза и дожидаются его приказаний. Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масла, уксусу, сахару, горчицы, равиоли, брокколи... Мальчуганы начинают бегать и носить к нему то то, то другое. Гоголь, с сияющим лицом, принимает все из их рук за столом, в полном удовольствии, и распоряжается: раскладывает перед собой все припасы, – груды перед ним возвышаются всякой зелени, куча стеклянок со светлыми жидкостями, все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносятся макароны в чашке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезывать... В эту минуту наша дверь с шумом растворяется. С хохотом мы все бежим к Гоголю. – «Так-то, брат, – восклицаю я, – аппетит у тебя нехорош, желудок расстроен? Для кого же ты это все наготовил?» Гоголь на минуту сконфузился, но потом тотчас нашелся и отвечал с досадою: «Ну, что вы кричите, разумеется, у меня аппетита настоящего нет. Это аппетит искусственный, я нарочно стараюсь возбудить его чем-нибудь, да черта с два, возбужу, как бы не так! Буду есть, да нехотя, и все как будто ничего не ел. Садитесь же лучше со мной; я вас угощу». – «Ну, так угости. Мы хоть и пообедали, но твои искусственные приготовления такие аппетитные...» – «Чего же вы хотите? Эй, камериере, принеси!» – и пошел, и пошел: *agrodolce, di cigno, pelustro, testa di suppa Inglese, moscatello*, и пр., и пр. Началось пирование, очень веселое. Гоголь уписывал за четверых и все доказывал, что это так, что это все ничего не значит, и желудок у него расстроен.

Николай Васильевич Гоголь. *Из письма А. С. Данилевскому 31 декабря 1838 г., из Рима:*

Ты спрашиваешь, что я такое завтракаю. Вообрази, что ничего. Никакого не имею аппетита по утрам и только тогда, когда обедаю, в 5 часов, пью чай, сделанный у себя дома, совершенно на манер того, какой мы пивали в кафе *Anglais*, с маслом и прочими атрибутами. Обедаю же я не в Лепре, где не всегда бывает самый отличный материал, но у Фалькона, – знаешь, что у Пантеона? где жареные бараны поспорят, без сомнения, с кавказскими, телятина более сыта, а какая-то *crostata* с вишнями способна произвести на три дня слюнотечение у самого отъявленного объедала. Но увы! не с кем делить подобного обеда.

Павел Васильевич Анненков:

Гоголь (в Риме, в 1841 г. – Сост.) поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением своим с прислужником. Раза два менял он блюдо риса, находя его то переваренным, то недодваренным, и всякий раз прислужник переменял блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера (иностранца), которого он

называл синьором Николо. Получив, наконец, тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайною алчностью, наклонясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии. <...>

Почти каждое утро заставлял я его в кофейной «Del buon gusto», отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасту происходили у него ссоры с прислужниками кофейни <...>.

Лев Иванович Арнольди:

Гоголь любил хорошо поесть и в состоянии был, как Петух, толковать с поваром целый час о какой-нибудь кулебяке; наедался очень часто до того, что бывал болен; о малороссийских варениках и пампушках говорил с наслаждением и так увлекательно, что у мертвого рождался аппетит; в Италии сам бегал на кухню и учился готовить макароны. А между тем очень редко позволял себе такие увлечения и был в состоянии довольствоваться самую скудную пищей, и постился иногда как самый строгий отшельник, а во время говенья почти ничего не ел.

Пантелеймон Александрович Кулиш:

За столом судил о винах с большими подробностями, хотя не обнаруживал никакого пристрастия к ним.

Александр Павлович Толченев:

Перед обедом Гоголь выпивал рюмку водки, во время обеда рюмку хереса, а так как собеседники его никогда не обедали без шампанского, то после обеда – бокал шампанского.

Ольга Васильевна Гоголь (в замужестве Головня):

Водку он просил настаивать на белой нехворощи; говорил, что она полезна.

Со слов Александра Семеновича Данилевского:

Обедая в гостинице (в 1836 г., в Бремене. – Сост.) вместе с Данилевским, Гоголь неожиданно сказал ему торжественным тоном: «Потребуем старого, старого рейнвейна». Но вино ни ему, ни Данилевскому не понравилось вовсе. По воспоминанию Данилевского, оно было слишком «сартеух» (крепко) и не понравилось также соседям, бывшим с ними вместе за табль-дотом. За это удовольствие путешественники должны были заплатить наполеондор (20 франков) – цена довольно внушительная. По словам Данилевского, оба они далеко не обладали хорошими средствами и вообще ездили очень экономно, но тут решились непременно испробовать этот знаменитый рейнвейн.

Федор Васильевич Чижов:

Сходились мы в Риме по вечерам постоянно у Языкова, тогда уже очень больного, – Гоголь, Иванов и я. Наши вечера были очень молчаливы. Обыкновенно кто-нибудь из нас троих – чаще всего Иванов – приносил в кармане горячих каштанов; у Языкова стояла бутылка алеатино, и мы начинали вечер каштанами, с прихлебками вина.

Ольга Васильевна Гоголь (в замужестве Головня):

Когда поспел терн, я сказала брату: «Какая великолепная наливка из терну!» – «Как бы сделать?» – «Налить можно, но не скоро поспеет». – «Так сделаем скороспелку». Велел принести новый горшок, положил полный горшок терна, потом налил водку, накрыл ее, замазал

тестом, велел поставить в печь, в такую, как хлеб сажают. На другой день вынули, поставили, пока остыло. Вечером открыли: цвет великолепный, и на вкус ему очень понравилось.

Александр Михайлович Щепкин (1828–1885), сын актера *М. С. Щепкина*:

Винам он давал, по словам М. С. (Щепкина. – Сост.), названия «Квартального» и «Городничего», как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должный порядок; а жженке, потому что зажженная горит голубым пламенем, – давал имя Бенкендорфа.

– А что? – говорил он М. С. после сытного обеда. – Не отправить ли теперь Бенкендорфа? – И они вместе приготавливали жженку.

Шутки, розыгрыши, проказы

Павел Васильевич Анненков:

Юмор занимал в жизни Гоголя столь же важное место, как и в его созданиях: он служил ему поправкой мысли, сдерживал ее порывы и сообщал ей настоящий признак истины – меру <...>.

Сергей Тимофеевич Аксаков:

Вообще в его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительную собственность малороссов; передать их невозможно. Впоследствии бесчисленными опытами убедился я, что повторение гоголевых слов, от которых слушатели валялись со смеху, когда он сам их произносил, – не производило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой.

Тимофей Григорьевич Пашенко:

Вот некоторые из оригинальностей Гоголя. Гимназия высших наук князя Безбородко разделялась на три музея, или отделения, в которые входили и выходили мы попарно; так водили нас и на прогулки. В каждом музее был свой надзиратель. В третьем музее надзиратель был немец, З<ельднер>, безобразный, неуклюжий и антипатичный донельзя: высокий, сухопарый, с длинными, тонкими и кривыми ногами, почти без икр; лицо его как-то уродливо выдавалось вперед и сильно смахивало на свиное рыло... длинные руки болтались как будто привязанные; сутуловатый, с глуповатым выражением бесцветных и безжизненных глаз и с какою-то странной прическою волос. Зато же длинными кривушами своими Зельднер делал такие гигантские шаги, что мы и не рады были им. Чуть что, он и здесь: раз, два, три, и Зельднер от передней пары уже у задней; ну просто не дает нам хода. Вот задумал Гоголь умерить чрезмерную прыткость этого цыбатого (длинноногого) немца и сочинил на Зельднера следующее четырехстишие:

Гицель – морда поросыча,
Журавлини ножки;
Той же чортик, що в болоти,
Тилько приставь рожки!

Идем, Зельднер – впереди; вдруг задние пары запоют эти стихи – шагнет он, и уже здесь. «Хто шмела петь, што пела?» Молчание, и глазом никто не моргнет. Там запоют передние пары – шагает Зельднер туда – и там тоже; мы вновь затынем – он опять к нам, и снова без ответа. Потешаемся, пока Зельднер шагать перестанет, идет уже молча и только оглядывается и грозит пальцем. Иной раз не выдержим и грохнем со смеху. Сходило хорошо. Такая потеха доставляла Гоголю и всем нам большое удовольствие и поумерила гигантские шаги Зельднера. Был у нас товарищ Р<иттер>, большого роста, чрезвычайно мнительный и легковерный юноша, лет восемнадцати. У Риттера был свой лакей, старик Семен. Заинтересовала Гоголя чрезмерная мнительность товарища, и он выкинул с ним такую штуку: «Знаешь, Риттер, давно я наблюдаю за тобою и заметил, что у тебя не человечьи, а бычачьи глаза... но все еще сомневался и не хотел говорить тебе, а теперь вижу, что это несомненная истина – у тебя бычачьи глаза...»

Подводит Риттера несколько раз к зеркалу, тот пристально всматривается, изменяется в лице, дрожит, а Гоголь приводит всевозможные доказательства и наконец совершенно уверяет Риттера, что у него бычачьи глаза.

Дело было к ночи: лег несчастный Риттер в постель, не спит, ворочается, тяжело вздыхает, и все представляются ему собственные бычачьи глаза. Ночью вдруг вскакивает с постели, будит лакея и просит зажечь свечу; лакей зажег. «Видишь, Семен, у меня бычачьи глаза...» Подговоренный Гоголем лакей отвечает: «И впрямь, барин, у вас бычачьи глаза! Ах, боже мой! Это Н. В. Гоголь сделал такое наваждение...» Риттер окончательно упал духом и растерялся. Вдруг поутру суматоха. «Что такое?» – «Риттер сошел с ума! Помешался на том, что у него бычачьи глаза!..» – «Я еще вчера заметил это», – говорит Гоголь с такою уверенностью, что трудно было и не поверить. Бегут и докладывают о несчастье с Риттером директору Орлаю; а вслед бежит и сам Риттер, входит к Орлаю и горько плачет: «Ваше превосходительство! У меня бычачьи глаза!..» Ученейший и знаменитый доктор медицины директор Орлай флегматически нюхает табак и, видя, что Риттер действительно рехнулся на бычачьих глазах, приказал отвести его в больницу. И потащили несчастного Риттера в больницу, в которой и пробыл он целую неделю, пока не излечился от мнимого сумасшествия. Гоголь и все мы умирали со смеху, а Риттер вылечился от мнительности.

Замечательная наблюдательность и страсть к сочинениям пробудилась у Гоголя очень рано и чуть ли не с первых дней поступления его в гимназию высших наук. Но при занятии науками почти не было времени для сочинений и письма. Что же делает Гоголь? Во время класса, особенно по вечерам, он выдвигает ящик из стола, в котором была доска с грифелем или тетрадка с карандашом, облакачивается над книгою, смотрит в нее и в то же время пишет в ящичке, да так искусно, что и зоркие надзиратели не подмечали этой хитрости. Потом, как видно было, страсть к сочинениям у Гоголя усиливалась все более и более, а писать не было времени и ящик не удовлетворял его. Что же сделал Гоголь? Взбесился!.. Да, взбесился! Вдруг сделалась страшная тревога во всех отделениях – «Гоголь взбесился!..» Сбежались мы и видим, что лицо у Гоголя страшно исказилось, глаза сверкают каким-то диким блеском, волосы напорщились, скрегочет зубами, пена изо рта, падает, бросается и бьет мебель – взбесился! Прибежал и флегматический директор Орлай, осторожно подходит к Гоголю и дотрагивается до плеча: Гоголь схватывает стул, взмахнул им – Орлай уходит... Оставалось одно средство: позвали четырех служащих при лицее инвалидов, приказали им взять Гоголя и отнести в особое отделение больницы. Вот инвалиды улучили время, подошли к Гоголю, схватили его, уложили на скамейку и понесли, раба Божьего, в больницу, в которой пробыл он два месяца, отлично разыгрывая там роль бешеного...

У Гоголя созрела мысль и, надо полагать, для «Вечеров на хуторе». Ему нужно было время – вот он и разыграл роль бешеного, и изумительно верно! Потом уже догадались.

Александр Семенович Данилевский:

Мы всегда ездили домой на вакации с Гоголем и с сыном моего отчима, Барановым. Помню один забавный случай с надзирателем Зельднером. Зельднер навязался ехать с нами. Коляску прислали четвероместную. Было бы место для всех, но к нам напросился еще некто Щербак (он был знаком с семейством Гоголя); он жил около Пирятина; это были довольно богатые люди. Зельднер еще сохранял тогда для нас авторитет: его присутствие нас очень стесняло. К тому же с ним было несчастье: каждый раз, когда он пускался в дорогу, с ним случалось расстройство желудка, да и в деревне жить с ним было не очень приятно. Он ехал к нам обоим, но обоим не хотелось его брать. Когда условились с ним ехать, то он пошел с нами на черный двор, где была коляска, и хотел непременно доказать, что можно ехать впятером. Наружность его была забавная, ноги циркулем. Наконец все было готово к отъезду. Накануне жена Зельднера, Марья Николаевна, напекла нам на дорогу пирожков, и на другой день, чем свет, мы должны были тронуться в путь. Но мы составили заговор – уехать раньше. На другой день утром приехавший за нами человек Гоголя, Федор, разбудил нас в музее (так назывались отделения, на которые разделялись воспитанники; их было три:

старшее, среднее и младшее). Зельднер потом нас искал и ни за что не хотел поверить, что мы уехали. «А, мерзкая мальчишка!» – говорил он.

Дорога была продолжительная. Мы ехали на своих, и на третий день прибыли. Дорогой дурачились, и Гоголь выкидывал колена. Щербак был грузный мужчина с большим подбородком. Когда он, бывало, заснет, Гоголь намажет ему подбородок халвой, и мухи облепят его; ему доставался и «гусар» (гусар – это была бумажка, свернутая в трубочку). Когда кучер запрягал лошадей, то мы наводили стекло на крупы. Дорога была веселая.

Александр Петрович Стороженко:

Кто-то дернул меня за фалдочку, оглянувшись, я увидел Гоголя.

– Пойдем в сад, – шепнул он и довольно скоро пошел в диванную; я последовал за ним, и, пройдя несколько комнат, мы вышли на террасу.

Перед нами открылась восхитительная картина: по крутому склону расстилался сад; сквозь купы столетних дубов, клена виднелась глубокая долина с левадами и белыми хатами поселян-казаков, живописно раскинутыми по берегу извилистой реки; в светлых ее водах отражалась гора, вершина которой покрывалась вековым лесом. Было не более трех часов пополудни. Июльское солнце высоко стояло над горизонтом. Трава и верхи деревьев, проникнутые палящими лучами, отливались изумрудом; но там, где ложилась тень, она казалась мрачною, а из глубины леса глядела ночь. По прямому направлению лес от дома был не более полверсты, так что до нашего слуха долетали пронзительный свист иволги, воркованье горлиц и заунывное кукованье кукушки.

– Очаровательная панорама! – сказал Гоголь, любуясь местоположением. – А лес так и манит к себе: как там должно быть прохладно, привольно – не правда ли? – продолжал он, с одушевлением глядя на меня. – Знаете ли, что сделаем: мы теперь свободны часа на три; пойдемте в лес?

– Пожалуй, – отвечал я, – но как мы переберемся через реку?

– Вероятно, там отыщем челнок, а может быть, и мост есть.

Мы спустились с горы напрямиком, перелезли через забор и очутились в узком и длинном переулке, вроде того, какой разделял усадьбы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

– Направо или налево? – спросил я, видя, что Гоголь с нерешимостью посматривал то в ту, то в другую сторону переулка.

– Далеко придется обходить, – отвечал он.

– Что ж делать?

– Отправимся прямо.

– Через леваду?

– Да.

– Пожалуй.

На основании принятой от поляков пословицы: «шляхтич на своем огороде равен воеводе», в Малороссии считается преступлением нарушить спокойствие владельца; но я был очень сговорчив и первый полез через плетень. Внезапное наше появление произвело тревогу. Собаки лаяли, злобно кидаясь на нас, куры с криком и кудахтаньем разбежались, и мы не успели сделать двадцати шагов, как увидели высокую дебелую молодницу, с грудным ребенком на руках, который жевал пирог с вишнями и выпачкал себе лицо до ушей.

– Эй, вы, школяры! – закричала она. – Зачем? Что тут забыли? Убирайтесь, пока не досталось по шеям!

– Вот злючка! – сказал Гоголь и смело продолжал идти; я не отставал от него.

– Что ж, не слышите? – продолжала молодница, озлобляясь. – Оглохли? Вон, говорю, курохваты, а не то позову *чоловика* (мужа), так он вам ноги поперебивает, чтоб в другой раз через чужие плетни не лазили!

– Постой, – пробормотал Гоголь, – я тебя еще не так рассержу!
– Что вам нужно?.. Зачем пришли, ироды? – грозно спросила молодница, остановясь в нескольких от нас шагах.

– Нам сказали, – отвечал спокойно Гоголь, – что здесь живет молодница, у которой *дитина* похожа на поросенка.

– Что такое? – воскликнула молодница, с недоумением поглядывая то на нас, то на свое детище.

– Да вот оно! – вскричал Гоголь, указывая на ребенка. – Какое сходство, настоящий поросенок!

– Удивительное, чистейший поросенок! – подхватил я, захохотав во все горло.

– Как! моя *дитина* похожа на поросенка! – заревела молодница, бледнея от злости. – Шибеники¹¹, чтоб вы не дождали завтрашнего дня, сто болячек вам!.. Остапе, Остапе! – закричала она, как будто ее резали. – Скорей, Остапе!.. – и кинулась навстречу мужу, который не спеша подходил к нам с заступом в руках.

– Бей их заступом! – вопила молодница, указывая на нас. – Бей, говорю, шибеников! Знаешь ли, что они говорят?..

– Чего ты так раскудаhtалась? – спросил мужик, остановясь. – Я думал, что с тебя кожу сдирают.

– Послушай, Остапе, что эти богомерзкие школяры, ироды, выгадывают, – задыхаясь от злобы, говорила молодница, – рассказывают, что наша *дитина* похожа на поросенка!

– Что ж, может быть и правда, – отвечал мужик хладнокровно, – это тебе за то, что ты меня кабаном называешь.

Нет слов выразить бешенство молодницы. Она бранилась, плевалась, проклинала мужа, нас и с ругательствами, угрозами отправилась в хату. Не ожидая такой благополучной развязки, мы очень обрадовались, а Остап, понурившись, стоял, опершись на заступ.

– Что вам нужно, *панычи*? – спросил он, когда брань его жены затихла.

– Мы пробираемся на ту сторону, – сказал Гоголь, указывая на лес.

– Ступайте ж по этой дорожке; через хату вам было бы ближе, да теперь там не безопасно; жена моя не охотница до шуток и может вас поколотить.

Едва мы сделали несколько шагов, Остап остановил нас.

– Послушайте, панычи, если вы увидите мою жену, не трогайте ее, не дразните, теперь и без того мне будет с нею возни на целую неделю.

– Если мы ее увидим, – сказал Гоголь, улыбаясь, – то помиримся.

– Не докажете этого, нет; вы не знаете моей жинки: станете мириться – еще хуже разбесите!

Мы пошли по указанной дорожке.

– Сколько юмору, ума, такта! – сказал с одушевлением Гоголь. – Другой бы затеял драку, и бог знает, чем бы вся эта история кончилась, а он поступил как самый тонкий дипломат: все обратил в шутку – настоящий Безбородко!

Выйдя из левады, мы повернули налево и, подходя к хате Остапа, увидели жену его, стоявшую возле дверей. Ребенка держала она на левой руке, а правая вооружена была толстой палкой. Лицо ее было бледно, а из-под нахмуренных бровей злобно сверкали черные глаза. Гоголь повернулся к ней.

– Не трогайте ее, – сказал я, – она еще вытянет вас палкой.

– Не бойтесь, все кончится благополучно.

– Не подходи! – закричала молодница, замахиваясь палкой. – Ей-богу, ударю!

¹¹ Достойные виселицы, сорванцы (укр.).

– Бессовестная, Бога ты не боишься, – говорил Гоголь, подходя к ней и не обращая внимания на угрозы. – Ну, скажи на милость, как тебе не грех думать, что твоя *дитина* похожа на поросенка?

– Зачем же ты это говорил?

– Дура! шуток не понимаешь, а еще хотела, чтоб Остап заступом проломал нам головы; ведь ты знаешь, кто это такой? – шепнул Гоголь, показывая на меня. – Это из суда чиновник, приехал взыскивать недоимку.

– Зачем же вы, как *злодии* (воры), лазите по плетням да собак дразните!

– Ну, полно же, не к лицу такой красивой молодежи сердиться. Славный у тебя *хлопчик*, знатный из него выйдет писарчук: когда вырастет, громада выберет его в головы.

Гоголь погладил по голове ребенка, и я подошел и также поласкал дитя.

– Не выберут, – отвечала молодница смягчаясь, – мы бедны, а в головы выбирают только богатых.

– Ну так в москали возьмут.

– Боже сохрани!

– Эка важность! в унтера произведут, придет до тебя в отпуск в крестах, таким молодцом, что все село будет снимать перед ним шапки, а как пойдет по улице, да брязнет шпорами, сабелькой, так дивчата будут глядеть на него да облизываться. «Чей это, – спросят, – служивый?» Как тебя зовут?..

– Мартой.

– Мартин, скажут, да и молодец же какой, точно намалеванный! А потом не придет уже, а придет к тебе тройкой в кибитке, офицером и всякого богатства с собой навезет и гостинцев.

– Что это вы выгадываете – можно ли?

– А почему ж нет? Мало ли теперь из унтеров выслуживаются в офицеры!

– Да, конечно; вот Оксанин пятый год уже офицером и Петров также, чуть ли городничим не поставили его к Лохвицу.

– Вот и твоего также поставят городничим в Ромен. Тогда-то заживешь! в каком будешь почете, уважении, оденут тебя, как пани.

– Полно вам выгадывать неподобное! – вскричала молодница, радостно захохотав. – Можно ли человеку дожить до такого счастья?

Тут Гоголь с необыкновенной увлекательностью начал описывать привольное ее житье в Ромнах: как квартальные будут перед нею расталкивать народ, когда она войдет в церковь, как купцы будут угощать ее и подносить варенуху на серебряном подносе, низко кланяясь и величая сударыней матушкой; как во время ярмарки она будет ходить по лавкам и брать на выбор, как из собственного сундука, разные товары бесплатно; как сын ее женится на богатой панночке и тому подобное. Молодница слушала Гоголя с напряженным вниманием, ловила каждое его слово. Глаза ее сияли радостно; щеки покрылись ярким румянцем.

– Бедный мой Аверко, – восклицала она, нежно прижимая дитя к груди, – смеются над нами, смеются! –

Но Аверко не лънул к груди матери, а пристально смотрел на Гоголя, как будто понимал и также интересовался его рассказом, и когда он кончил, то Аверко, как бы в награду, подал ему свой недоодеженный пирог, сказав отрывисто: «На!»

– Видишь ли, какой разумный и добрый, – сказал Гоголь, – вот что значит казак: еще на руках, а уже разумнее своей матери; а ты еще умничаешь, да хочешь верховодить над мужем, и сердилась на него за то, что он нам костей не переломал.

– Простите, паночку, – отвечала молодница, низко кланяясь, – я не знала, что вы такие добрые панычи. Сказано: у бабы волос долгий, а ум короткий. Конечно, жена всегда глупее человека и должна слушать и повиноваться ему – так и в Святом Писании написано.

Остап показался из-за угла хаты и прервал речь Марты.

– Третий год женат, – сказал он, с удивлением посматривая на Гоголя, – и впервые пришлось услышать от жены разумное слово. Нет, паньчу, воля ваша, а вы что-то не простое, я шел сюда и боялся, чтоб она вам носов не откусила, аж смотрю, вы ее в *ягничку* (овечку) обернули.

– Послушай, Остапе, – ласково отозвалась Марта, – послушай, что паньч рассказывает!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.